

Игорь Горев

# Дрёма

Роман



Игорь Горев  
**Дрёма. Роман**

«Издательские решения»

## **Горев И.**

Дрёма. Роман / И. Горев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-745848-5

Подросток — чистый холст, на котором, однажды, будет нарисован портрет. Художников будет множество: родители, маститые мастера, сверстники, улица, время и события, он сам. Но каким быть портрету: торжественным, приукрашенным позолоченными вензелями, или обыкновенным карандашным наброском, стандартным фотоснимком... А лучше живым, правдивым, вдохновлённым Любовью. Читайте необыкновенную историю самой обычной судьбы. Читайте и размышляйте, ищите свой путь: «Поводырь проведёт, но не сделает зрячим».

ISBN 978-5-44-745848-5

© Горев И.  
© Издательские решения

## Содержание

Глава первая. Дневник	6
Глава вторая. Рождение	39
Глава третья. Детство	42
Глава четвёртая. Отрочество	47
Глава пятая. Переходный возраст	56
Глава шестая. Что реальность: вдох, выдох или пауза между ними	67
Глава седьмая. Прикованная	73
Конец ознакомительного фрагмента.	88

# Дрёма Роман

## Игорь Горев

*Когда мы дремлем у костра  
И море волны золотые,  
Как будто кудри молодые,  
Взъерошив, гонит к берегам,  
Ни грусти нет, и нет тревоги,  
Душа податлива ветрам,  
Её стремления босые  
Идут навстречу к облакам.*

*Не рвётся парус и пророки  
Судьбу пускают на простор.  
Бессильный демон многоокий  
Потупит свой горящий взор.*

*А вы, герои скорбных плит,  
Удел нашедшие в могиле,  
Теперь-то вы уже не в силе  
Проклятый рок свой изменить.  
И сколько б трубы не звучали,  
Писцы послушливо писали —  
Дремотный дух прощает вам,  
Как агнец падишим пастухам...*

© Игорь Горев, 2017

ISBN 978-5-4474-5848-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Глава первая. Дневник

\* \* \*

– Любовь была!.. Изначально...

Одутловатый майор поднял рыхлое лицо и с рыбьим интересом уставился на старлея, с чьих потрескавшихся губ слетела последняя крамольная фраза. И слова и смысл никак не хотели, в затуманенной голове майора, согласовываться с реальностью. Грубой, брутальной.

Они сидели в ротной полевой палатке, в которой, судя по выцветшему виду, сживали ещё их деды. В центре топилась изрядно помятая железная печурка, возле неё были составлены тёмно-зелёные ящики из-под снарядов. Ящики служили и столом и скамейками. На ящике-столе тускло горела закопчённая керосиновая лампа, она густо чадила, чёрный дым клубился вверх, где смешивался с вселенским мраком, царившим в палатке всегда, солнечный день не рассеивал его, но лишь слегка разбавлял.

Мрак этот был живой. Он ворочался, кряхтел, сопел, храпел, и, наверное, с тоски хлопал на ветру брезентом.

– Ты чего... это? – майор очнулся, с трудом пошевелился, словно искал точку опоры на узком ребристом ящике для массивного тела. Затем кивнул лысеющей головой, то ли икая, то ли соглашаясь с чем-то, и тем же сирым апатичным голосом добавил себе под нос, – так, старлею больше не наливать. Он о бабах заговорил.

И майор, основательно подперев подбородком в грудь, снова погрузился в сомнамбулический сон, иногда прерываемый отрывистым всхрапыванием. Тогда он вздрагивал, начинал снова искать точку опоры, как ни странно находил, тянулся к бутылке на снарядном ящике, молча наливал, пил, брал ломтик ржаного хлеба или обветренной брынзы, нюхал, или откусывал, долго жевал, бессмысленно поглядывая на спящего старлея:

– И выпить-то не с кем. Вот жизнь...

Майор ещё несколько минут взглядом деревянного божка рассматривал скорчившуюся на краю керосинку, и вдруг захрапел.

Старлей делал вид, что спит. Он пытался и был бы рад глубокому беспробудному сну, ради него он согласился распить со всеми «эти поллитра разбавлёнки» и терпеть нудный, бесконечно нудный рассказ майора Белошапка о превратностях службы начальником штаба полка. Майор всё говорил, а старлей кивал и кивал, протягивая НШ железную кружку. Они были людьми из разных миров, чьи мировоззрения при столкновении в броуновском движении жизни всегда отталкивались друг от друга и бежали прочь. Ни общих интересов, ни непересекающихся запросов, ничего общего, а свели их вместе под шатким пологом армейской палатки война и случай.

Почему-то кажется, что эти слова синонимы.

\* \* \*

Вот так почти каждый вечер, когда не было боевых и тревог, палатка проваливалась в глубокий сон. В сумрачное забытье. Но всегда этому предшествовала вакханалия:

– А не скинуть ли нам стресс, други мои! – Капитан Пономарёв вяло расстегнул подбородочный ремешок и каска, описав крутую дугу, полетела на угловую койку. – Странный факт: вещь для моего организма явно лишняя, он всячески отторгает её, протестует, а и к ней, чертовке, привыкаешь.

– Ты о Клаве – пышнотелом образе тыла?

– Если бы о ней. То привычка для организма приятная и необходимая. Я вот об этом предмете, – капитан Пономарёв опустил на койку и взял в руки каску. – Помню когда впер-

вые надел её. А было это в училище, годков этак... а не важно. У нас был полевой выход и всех заставили не расставаться с автоматом и постоянно носить каску. Так сказать, приучали к трудностям жизни, отцы-командиры. Первый курс, попробуй не исполни. Сами понимаете. И таскали. Зато когда сняли, такое облегчение испытали и ещё долго потом ходили, крутили и качали головами, ну вроде китайских болванчиков. Знаете.

– А чего крутили-то?

Капитан Пономарёв недоумённо обернулся на голос:

– А, военная кафедра. Да тебе не понять. А от того, товарищ студент, что ощущение было такое, будто чего-то в голове не хватает.

– Каски или мозгов, ха-ха.

– А, так эту школу и я прошёл. Чуть позже, уже здесь. Как увидел разбросанные мозги на снегу, с тех пор и не расстаюсь. Пригодится.

– Что каска?

– Мозги.

– А почему все молчат. Поступило предложение.

– Пономарёв ты будто первый день в армии что ли. Поступило – наливай.

Почти все офицеры, находившиеся в палатке, сгрудились у печурки. Любители карт, изрядно выпив со всеми и закусив, отсели в сторонку, «к ломберному столику».

Разговор странным образом вернулся к каске:

– Да что б тебя!

– Что на шило сел?

– Хуже – на каску.

– Ты её не ругай. Она, конечно, вещь неудобная, но привыкаешь быстро – жизнь заставляет. Меня вот от снайперской пули спасла. Я теперь без неё и в уборную ни шагу.

– Да, прелюбопытная вещь эта привычка. То, что вчера ещё отвергал всеми фибрами души, сегодня без этого уже не представляешь как жить.

– Иоанн, а ты чего нас всех оставил?

Захмелевший, весь красный от короткого ёжика волос до грязно-белого подворотничка, капитан Пономарёв повернулся в сторону лежащего на койке старлей:

– Мы тут каску обсуждаем. Обществу хотелось бы знать и ваше особое мнение. Оно ведь у вас всегда особое.

Старлей молчал, делая вид, что дремлет.

– Нет, вы посмотрите. Наш славный Иоанн, брезгует нашим обществом, так получается, что ли? Ио-анн!

Старлей, не открывая воспалённых век, впервые за весь вечер заговорил:

– Ох, Пономарёв, и вечером ты мне не даёшь покоя.

– Покой нам только снится. Итак, общество ждёт, – Пономарёв, ехидно шурясь и насмешливо морща лоб, оглядел сидящих гурьбой офицеров.

Ответом ему были одобрительные усмешки.

– Да, Иоанн, просвети нас тёмных.

Старлей привстал на локте:

– Привычка, говорите? Не мучьте голову лишними вопросами – вы же, всё равно, не собираетесь отвечать на них. Верно?

– А вдруг?

– Тогда не малюйте на каске символы, не служите им и, вообще, не поклоняйтесь вы ей.

– Ты знаешь, я ещё ни разу не кланялся собственной каске. Только однажды, когда упал в грязь.

– Не обманывайтесь, товарищ майор.

– Ты за кого меня держишь?!

– Вы знаете меня, я уже всем говорил: я никого не измеряю какой-либо земной меркой. А насчёт каски, так вы первые меня спросили. В Москве в Александровском парке разве вы не кланяетесь каске?

– Ну-у старлей, это ты уже хватил через край. Ты это... святое не тронь. Понял!

– Понял, товарищ майор. И к вам будет просьба: не будите меня, когда мне хочется вздремнуть.

– Вот гад, – отворачиваясь от койки, где лежал старлей, прошипел едва слышно жилистый майор, играя желваками на щеках, – там, может, мой дед лежит. А он...

\* \* \*

Какая война, спросите вы? Да разве это имеет значение: на какой войне люди с воодушевлением убивают друг друга. И делают это так запросто, так лихо и героически, с такой сноровкой, будто разделяют кусок мяса на кухне, успевая при этом шутить и обмениваться рецептами приготовления гуляша и отбивных.

Старлея звали Иваном. Это былинное имя никак не шло к худощавому телу, слегка вытянутому скуластому лицу и задумчивым светло-карым глазам. Поэтому в детстве его звали Ванюшей, а когда Ванюшей стало неудобно называть юношу с пробивающимися усами, начали обращаться Ваня. Официальные лица, сверившись с паспортом, величали Иван Ивановичем. Ваня всегда смущался.

\* \* \*

Остролов капитан Пономарёв, завидев Ваню, всегда во всеуслышание объявлял:

– Наш Иоанн Иванович явился.

Старлей Ваня не обижался – сам виноват, кто же говорит о сокровенном, выстраданном, когда идёт всеобщая пьянка, а все мысли об одном: не взойдёт ли завтра солнце над твоим остывающим трупом? Тогда шутка всем понравилась, посыпались другие предложения в духе КВН, и весёлые, и скабрёзные.

– Да! А Семёныча мы нарядим в сутану.

– И хде ж ты её найдёшь. Тем более Семёнычу. Разве только палатку эту перекроить.

– А хоть и палатку. Зато умора будет. Представь: наш Семёныч, значит, в сутане...

– Из палатки сшитой.

– Да, так вот, Семёныч, и вид у него такой – неприкаянного попики сажень в плечах, встречает тех, кто по ту линию фронта каждый день мечтает нам кишки выпустить.

– Причём всем и сразу.

– Значит, кланяется им и тоненьким голоском блеет: «Прощаем вам, значит, грехи ваши нам, враги наши», – и говоривший на самом деле весело заблеял.

Все взглянули на невозмутимого Семёныча, сопоставили тоненький голосок с его метр девяносто семь (причем как в высоту, так и в ширину) и палатка взорвалась от дикого хохота.

– Ты Ваня о всяких там моралях, в другое время и в другом месте. Хорошо? А тут когда водку с кровью мешаем, не надо. Хорошо. Не надо. Ты тут недавно...

– Да, ладно, не грузись и не грузи Ваню Крендель. Он так спяну. Верно, Вань?

Командир третьей роты, чьи уши выдавали в нём борца, обернулся к Ване. Ваня ответил не сразу:

– Я серьёзно.

– А чего же ты вчерась палил из «калаша» как угорелый. Два рожка фьют в белый свет как в копеечку.

– Со страху.

– Ага – наложил, значит.

– Поддался искушению.

– Что в штаны наложить? Ха-ха. Так тут никакого искушения не надо – само прёт! Ха-ха.

– Терпеть надо. Терпеть.

– Так и я о том же, Ваня, расслабься: «Терпеть надо, терпеть». Ты чего нам тут начинаешь. Нам проповедей и без тебя хватает, наш полковой «проповедник» майор Пустовалов так заливает, так заливает – тебе до него далеко.

– А я не проповедую. Вы спросили, я ответил. Люди по одной дороге ходят, а видят разное. Поводырь слепого только проведёт, а прозревать всё равно придётся каждому. За него этот труд никто не сделает. Вот я и тружусь, да видно не до кровавого пота, слабак, если вчера со страху стрелять стал. Каждый день твержу себе: «Терпение, Ваня, терпение».

– Тьфу-ты, скучно с тобой Ваня.

– Ничего, обстреляется и повеселеет. Верно?

– Спаси Бог.

– Тьфу-ты, вот шарманка: «спаси, спаси...» Как сюда-то попал? Тебе нужно было точно в попы податься. Глядишь и открестился бы.

– Попал? Да, так же как и вы – Родина призвала. Она у нас одна на всех. Я на сборах двухнедельных партизанил, так вот с них и, не спрашивая, сюда. А откреститься, говоришь... оно можно, но пока не окунёшься – не смоешь.

В палатке стало тихо. Майор Белошапка потянувшийся было за куском рафинада, забыл зачем тянул руку, и со словами: «Вот дела», – начал медленно оседать на своё место. Да, только, видимо, так задумался над Ваниной риторикой (или смутился), что не рассчитал траектории и, чертыхаясь, сполз с ящика на пол, развеселив всех видом болтающихся в воздухе ботинками.

– Ваня, гляди, что ты наделал. Теперь НШ начнёт путать листки о награждении с похоронками. Ты ему весь мозг вывернул и он, видишь, решил теперь у чертей истину искать.

Всем стало смешно, а капитан Пономарёв, зубоскаля, добавил:

– Ты не Ваня, а Иоанн.

– Ага, Иоанн Окунатель.

– Сам ты «окунатель», болван – Креститель.

При слове «креститель» на левом фланге полка с треском разорвалась сигнальная мина и началась стрельба, послышались хлопки ручных гранат, все подскочили с мест, и начали выбегать, сталкиваясь у выхода.

На рассвете того, кто прозвал старлея «крестителем» выволокли на брезенте в тыл двое солдат:

– Ух, тяжёлый, блин. И чего трупы сами не ходят.

– Привилегия у них такая, – криво хмыкнул другой солдат, – у мёртвых, чтобы их носили на руках.

\* \* \*

Майор окончательно потерял точку опоры и неуклюже съехал на пол. Старший лейтенант Ваня отстранённо смотрел на крышку буржуйки, она неплотно прилегала образуя тонкую щёлочку, внутри полыхала неведомая ему жизнь, мелькали тени, что-то шевелилось и с шорохом осыпалось. И оттуда в студёную палатку проникал тёплый оранжевый свет.

Хоть что-то..., – Ваня улыбнулся уголками рта. В отличие от майора он не был пьян, каждый раз делая вид, что пьёт, он лишь слегка пригубливал, морщился и при случае незаметно сливал содержимое кружки на пол. Если кто-нибудь, вдруг, заметил бы такое святотатство скандала не избежать. Спирт ценился превыше жизни, он, как никто, умел перекрашивать кровавые будни войны в весёлые пастельные цвета. Ваня шёл поперёк всем традициям и вопреки здравому смыслу: он решительно отказывался от «ста грамм», предоставляя душе возможность лицезреть ужасную реальность во всех красках: «Я не буду обманываться. Хватит! Пусть как есть – так и будет. И это будет моей правдой». Вот почему все спали, а ему

не спалось. На душе было и хорошо и тяжело. Так бывает, когда твёрдо решишь идти вперёд, не сворачивая, «увидю, обязательно увидю те чудеса, о которых мне все уши прожужжали», а дорога...: сплошная непролазь, косогоры и пропасти и ты уже на полпути.

Пусть хохочут от души, издеваются – не отступлюсь. Теперь точно не отступлюсь, – думал Иван, всякий раз убеждая сам себя, – не отступлюсь! И будь, что будет... Уснуть бы. Он пошарил рукой справа от себя достал вещмешок, развязал и вытащил две изрядно потрепанные тетради. Одна толстая, девяносто шесть листов, на красочной обложке куда-то неслись две белые гривастые лошади, другая тетрадь потоньше – на сорок восемь, простенькая без картинок на обложке. Подумал, раскрыл толстую и погрузился в чтение. В голове корявый неровный почерк рождал яркие образы:

«– Ванюша. Ванюша, бросай игрушки идём кушать.

– Сейчас, мама.

– Отец уже пришёл.

Отец это уже серьёзно. Мальчик полководческим суровым взглядом окидывал, фигурки солдат, «танчики» и поспешно бежал на кухню. На столе аппетитно парила тарелка с борщом, в вазе горкой лежали ломтики белого хлеба. И над всем авторитетно возвышалась фигура отца. Рядом, примостившись на табуретке, сидела мама.

– Ну что, боец, воюешь?

– Воюю, – серьёзно отвечал Ванюша и брался за ложку.

– И кто побеждает, надеюсь наши?

– А кто же ещё?

– Дело. Помни: знамёна это важно и под чьими ты выступаешь тем более важно. Ладно, кушай. Когда я ем, я глух и...

– Нем.

Детство – пора сплошных чудес. И хлеб всегда на столе горкой, и каша рассыпчатая с молоком, а по праздникам и пироги; обязательно. Бывает, конечно, и прилетит ремнём. Отец у Вани был строгий. Мог и высечь и в угол поставить, посидит на табурете, насупившись, потом брови сами разойдутся, глаза подобреют:

– Чуешь за что?

Ванюша кивал.

– То-то. Ладно, выходи.

Детство жило от прощения до прощения и никогда от наказания до наказания. Оно и само не держало обиды, надуется и тут же забывает. К чему копить, если потом жить с этим грузом тяжело? Ваня махал ручонкой и мигом вскакивал на колени к отцу. «От слёз, Ванюша, одно воспаление на глазах». Ванюша прижимался, испытывая особое ни с чем несравнимое чувство защищённости и чего-то ещё, что он не мог объяснить. В том «чего-то» был, и солнечный летний день, и поскрипывание чистого снега под полозьями санок, и радуга, и щебетание птиц после грозы, и запах свежих опилок у свеженького сруба, и многое, многое ещё чего. Отец, почему-то робея, гладил Ванюшу по светлым волосам, целовал в макушку, потом уверенным хватом ставил на пол и тихо подталкивал:

– Ну, давай, Ванюш, иди играйся.

Ванюша тут же бежал к матери.

– Что, простили, озорник?... Так, к столу не подходи, а то в муке вывозишься. Потом по всему дому наследись, – это уже мамин голос.

Детство в любой момент могло устроиться на коленках, прижаться, найти защиту. Оно всегда было под пристальным вниманием, его гладили, оберегали, ему всегда прощали, но что странно: никогда, никогда детство и взрослая жизнь не соприкасались.

Они, будто Земля и Луна, кружили рядом соединённые невидимыми космическими связями, всегда на виду, близкие и от того родные, учитывая астрономические расстояния.

И самим фактом рождения. Казалось, сотряси посильнее орбиты, и разлетятся, потеряются во тьме. Ан нет, кружат рядышком.

Отец всегда приходил поздно и всегда усталый. Вешал на веранде пиджачок и невольно вжимал голову, проходя в дом, стараясь не задеть макушкой дверной косяк, да так и оставался, словно по команде «вольно»: руки безвольно по швам, опустив подбородок. Ванюше не часто удавалось поиграть с ним и приходилось всегда придумывать такую игру, чтобы привлечь внимание, «хотя бы на минуточку». Иногда мальчик канючил, надоедал и зачастую слышал в ответ: «Отстань, Ванюша, устал я сегодня». Мама обнимала нежнее и чаще. Ну как вам объяснить разницу между силой неоспоримой, способной подбросить тебя почти под самое небо к облакам и также уверенно поймать, когда начинаешь падать (аж сердце захолонится), отец – это вера неоспоримая, и маминой заботой, всегда тревожной и настороженной.

Однажды Ванюшу заинтересовало, что зажигает лампу под красным абажуром? Мальчик принялся исследовать розетку пытаться найти в ней (как яйцо в гнёздышке) ту самую таинственную силу, способную освещать и дом, и ночную улицу. Исследование закончилось быстро и плачевно. Что-то злое пребольно ужалило в руку, сильно тряхануло и начало алчно притягивать к себе. Ванюша от страха закричал, и его отбросило прочь. Тут же подскочила испуганная мама, прижала к себе, а потом пребольно и с каким-то остервенением высекла, после чего сама расплакалась и снова прижимала и целовала. С тех пор Ванюша любил мягкий свет испускаемый светильником, и он с опаской посматривал на круглую розетку: и каким это образом в ней (в розетке) польза уживается со злом?

Была некая сила такая могучая и добрая одновременно, что могла без принуждения и ремня, каким-то невероятным способом объединить вместе два несовместимых мира, мир взрослых и мир детей. Что за сила такая? – Ванюша ответить не мог, однако детское чутьё, а главное то, с какой непринуждённостью дети вписывают себя в грандиозно великую картину под названием «Мироздание», позволяли ему, ни на секунду не сомневаясь, утвердительно кивать головой: «А вы что, дяденька, не верите в эту силу!? Вы и на Земле-то потому стоите, что она есть!» Впрочем, мальчик, пока его все вокруг звали Ванюшей, и он легко соглашался с этим, не задумываясь и не пытаясь осознать свою сопричастность с этой силой. Он воспринимал её как данность, такую же неоспоримую, как солнце на небе и поля на земле, как отца и маму и даже различал её в мирном жужжании пушистого шмеля. И неизвестная сила отвечала ему взаимностью, оберегала и любила.

Однажды поздним зимним вечером они с другом Колькой решили испытать себя на храбрость. Серьёзно наблюдая друг за другом, они, сопя, напялили валенки, закутались в шарфы и вышли во двор. Мела позёмка, на лиловом небе смутно виднелись острые зубья дальнего леса.

– Иди, – поёжился Колька.

– И пойду, трус! А ведь мы слово давали.

– Сам ты трус!..

Так подбадривая и подначивая друг друга, мальчики осторожно пошли к лесу, высоко задирая ноги, утопая в снегу...

Обратно их принесли замёрзшими, испуганными и закутанными в большие тулупы. Когда мальчики отогрелись, отцы, не сговариваясь, сняли ремни и высыпали так «чтобы остереечь на будущее». Странно: боль быстро забылась, пострадавшее место, сами понимаете, мягкое. Не забылось Ванюше одно. Когда они окончательно потеряли собственные следы и накрылись до хрипоты, он остановился, прислушался, и, схватив друга за руку, потащил сквозь кустарник и молодую поросль. Ветки больно хлестали по лицу, а он шёл и повторял: «Нам туды. Нам туды надо».

Колька запомнил порку навсегда и больше в лес ночью не ходил, пока не вырос. Ванюша вспоминал пережитый кошмар и то, что он не мог объяснить самому себе: тот голос имеющий необычайно магнетическую силу.

У них в посёлке жил гармонист, кстати, тёзка мальчика. На все праздники обязательно зывали его: «Ванька айда, и гармонь захвати». Ванька, Ванькой, а пел он так задушевно и пронзительно, ни одно сердце устоять не могло. И погиб Ванька глупо и обыкновенно: напился и замёрз, когда возвращался с праздника, в том самом лесу его и обнаружили утром. «И чего его туда понесла недобрая, чудило пьяное». И лицо его и повадки Ванюша, как не силился, не мог вспомнить, а вот голос запросто. На пластинках так редко пели.

Таким же был и тот подслушанный однажды в заснеженном, тёмном лесу голос – незабываемым и сильным. А кроме того (и в этом Ванюша, не сомневался) – верным. Верный, вернее любого самого точного компаса. Вот, казалось бы, певец отменный и слух музыкальный а того голоса не расслышал в позёмку.

Ванюша вырос и как-то незаметно все стали называть его Ваней.

Детство, конечно, у каждого оно своё. И не всегда беззаботное: «У выродок и откуда ты мою голову взял?» И тогда не до нежностей, нужно было не по-детски, с запасом, думать о дне завтрашнем. Вера в чудо для этих маленьких добытчиков – пустой звук: «Все чудеса с накладной бородой. Эти фокусы нам известны. Эх, ты мелкотня пузатая, – отмахнётся надутый карапуз, – Ага, жди, что тебя из мешка запросто так накормят и напоят. Пока сам не поста-раешься – сдохнешь с голоду». В маленьком сердце любовь ещё поискать нужно, постараться по всем закоулкам. Забитая и загнанная, приученная бояться она – любовь – может и не показаться: давай, давай – аукай. А выйдет и по морде её – пройденный урок. Лучше отсижусь. Говорят, рецидивистов тянет обратно в тюрьму, «там их дом родной».

Тем не менее, какими бы разными ни были человеческие судьбы – детство никто не миновал, это уж точно. И вспоминая о нём, всегда возникает чувство утраты: что-то было такое... такое, что и памяти мало и опыт жизни, всегда на всё имеющий ответ, на сей раз отмолчит, пожмёт невразумительно плечами и не ответит. Что-то теряем мы все, распрощавшись однажды с детством. Не короткие штанишки и смешные платишки, не игрушки и влечение к сладкому. Всем этим может похвалиться любой взрослый, покровительственно потрепав малыша по шевелюре: подрастёшь, и сам себе начнёшь конфеты покупать в магазине, килограммами. Малыш выслушает, сверкнёт радостно глазами: «вот здорово будет!» – поско-учает за взрослым столом и умчится к себе, в детскую. Мечтать. Родитель проводит взглядом отпрыска и обратится к застолью: «Кому сидим, наливай» «Сколько?» «Ты чего, краёв не видишь?!» Если пересохло в горле, не беда – зальём. Да, жажда теперь недетская, сушит и сушит, зараза. Видимо у детства свой источник и он неиссякаемый?

Как бы вернуться к нему?..

Что же утеряно нами в детстве, что-то весьма ценное, о чём мы сожалеем потом всю оставшуюся жизнь? Я думаю – взгляд. Да-да, вы будете смеяться, смейтесь на здоровье. Но я утверждаю: мы все теряем детский взгляд на жизнь и вещи. В том взгляде наивность, доверчивость, ранимость, но он видит куда больше и прозревает куда глубже, умудрённого опытом, расчётливого и циничного взгляда взрослого человека...»

\* \* \*

Старлей закрыл тетрадь. Полог палатки захлопал на ветру, по ногам подул студёнистый сквозняк. На полу зашевелился замерзающий майор и, не пробуждаясь, пробубнил:

– Прохладно, старлей, подбрось.

Ваня поднялся, открыл дверцу печурки, подкинул внутрь дров, засмотрелся, как разгораются, потрескивая, огоньки и вернулся на место.

Уснуть бы! Почему же не спиться? И глаза, кажется, слипаются. Сомкнутся и мерещится что-то, страшное. В последнее время только страшное. И только потрёпанная тетрадка, нет-нет да вырвёт из кошмарных тисков реальности. Ваня чему-то улыбнулся. Так в детстве иногда приснится плохой сон, мама нежно разбудит, и сон тут же улечивается. «Спокойной ночи, сынок».

Странное свойство у этих тетрадок. Написано собственной рукой. Написано коряво, торопливо и далеко не литературным слогом. Вон другие такие перлы пишут, такие книги сочиняют – прочитаешь, удивишься: и откуда у людей талант такой: сочинять. В последнее время Ваня перестал читать: «Ну их – сочинителей этих».

А случилось это после одного заурядного на войне случая. Другие уже забыли о нём давно: голова распухнет всё помнить. У Вани свои запросы к войне.

Дело было летом. Прочёсывая лес, их рота набрела на заброшенную лачужку. Когда-то она служила егерям заповедника и туристам, теперь стала последним пристанищем для полуистлевшего трупа солдата. Как он попал сюда и почему погиб? – об этом могли поведать необструганые брёвна, если бы умели говорить. Ваню передёрнуло. Вот проклятая память, забросила невесть в какие ячейки милое детство, а увиденное в срубе на опушке будет помнить долго и так назойливо, до озноба, до зубовного хруста. Злодейка! Труп лежал на полу, в нём мерзко и деловито копошились черви, над ним роились мухи. Жужжали и, выбрав место, садились. Смерд ужасный. И рядом с трупом почему-то валялась книжка в мягкой обложке. Откуда она там взялась? Егеря оставили или сам солдат (глупость конечно, но кто знает?) читал перед смертью? Книжонка очень увлекательная – военные приключения, Ваня такими зачитывался, потом искал продолжение серии, обменивался. На каждой койке можно было найти подобную книжицу в мягкой обложке, одни предпочитали детективы, другие фантастику, третьи военные приключения – на любой вкус и запрос. В перерывах между стрельбой и попойками все читали.

– Чего уставился, старлей, трупов что ли не видел? Снимай жетон и на выход. Сожжём всё к едрене фене, и червей и книги. А чего? Хочешь возиться?..

В тот же день они вернулись в расположение полка. Наспех поужинали и сразу «в люлю» – уставший организм не просил – требовал отдыха. Сон был паршивый, липкий. Снилось старлею, как из книги выползают brave мускулистые герои, похожие почему-то белых червей и набрасываются на бедного солдата, тот корчится в предсмертных конвульсиях, стонет... Напоследок с мушиной изворотливостью вылетает сам автор и жужжит, жужжит, жужжит. Утром Ваня порылся в вещмешке, вытащил похожую книжонку и под возмущённые возгласы сослуживцев бросил в печь:

– Ты чего совсем спятил, Иоанн, прочитал сам отдай другому.

– Так больше пользы. Теплее.

Вот тебе и сочинения на свободную тему. Пишут много, пишут по-разному, в зависимости от того, как Бог наградил талантом и, согласуя талант с личными убеждениями и предпочтениями, а свободы как не было, так и нет. Свобода ведь не приходит извне, её не вручают на КПП тюрьмы. Её пишут изнутри. Да-да, именно, пишут (а не издают, направо и налево большими тиражами).

Старлей хмыкнул под нос: ты становишься литератором, излагаешь этаким..., – он задумался, подбирая подходящее слово, – высоким слогом. Много писать вредно, это уж точно... А ты для чего писал? Писака! – Ваня потянулся к тетрадям. Потом раздумал, побарабанил пальцами по белым лошадям.

\* \* \*

Он отчётливо вспомнил, когда написал первую строчку. Он тогда почувствовал себя невероятно одиноким, ему захотелось пожалеть самого себя, найти благодарного молчаливого слушателя и жаловаться, жаловаться, жаловаться. Под надоедливое мигание новогодних

гирлянд. Тут-то и попалась на глаза вот эта толстая тетрадь, он покупал её для очередного бизнес-проекта, проекта счастья, белые лошади, по его задумке, должны были превратиться в быструю пролётку, несущуюся во весь опор к счастью по извилистым дорогам жизни, хорошо – спицы на солнце сверкают, ветер будоражит кровь.

И понеслось.

Лихо исписал первую страницу. Душа ликовала и плакала – ей всё нравилось. И тут вдохновение отвлекло автоматическое мигание разноцветных лампочек, под потолком. Зачем они там мигают? Кому? Того кому предназначались этот разноцветный праздник уже нет здесь, был, всего лишь несколько часов назад, деловито копошился с ёлочными игрушками, радовался сверкающим огням, шурушанию мишуры. Потом был глупый скандал с женой, слёзы... нет, сын не плакал. Удивительно, но он не плакал, он был, как никогда, не по-детски серьёзен, сосредоточен.

Ваня вспомнил, как он снова перечитал написанное, хмыкнул зло и так же зло вырвал первую страницу. Долго комкал и потом на чистом листе написал: «Жалость прекрасна, если она не зеркало». Вдохновлённый неожиданным откровением он писал до утра и утром уснул, спокойный, радостный и совсем не одинокий. А как иначе – на страницах был он сам, вся его жизнь, но сам он не переживал заново эту жизнь, он спокойно рассматривал её со стороны. Он был читателем и автором в одном лице. Можно сказать, он терпеливо выслушивал самого себя, не осуждал, не одобрял, но и не безучастно – то был необыкновенный слушатель. Да и рассказчик не лукавил – он каялся. Честно, глаза в глаза. Для него – для Вани – написанное не было простой беллетристикой, увлекательным романом. Развёрнутые страницы напоминали разорванную с силой грудину и вывернутую наружу: неприглядно, но честно; и даже не голый.

\* \* \*

Ваня упёр подбородок в кулаки и придвинулся поближе к печке, словно желал получше рассмотреть пламя в топке. Писать много вредно и читать тоже, тогда чтение становится чем-то вроде пищеварительного процесса, засосало внутри, и глаза начинают метаться: что бы съесть такого... со всеми вытекающими отсюда результатами. А я больше и не собираюсь – точка. Тут всё, и даже больше. Кстати всё уже было написано до меня и давно, более того: до первого писателя и до первого поэта. Чем мы кичимся, возносимся? Для полноты картины не хватало одного словосочетания: Слово Ивана... И завтра утром оно будет дописано и тогда эти тетради превратятся не в сшитые «типографским методом» листы – они оживут и обязательно переживут моё брренное тело. Как можно превратить в прах то, что бесплотно и само по себе бессмертно – мой бессмертный дух.

И тут ясная, почти детская (если бы не усталые морщины в уголках глаз и на переносице) улыбка осветила лицо старлея. Скрючившись у печурки, сохраняя внутреннее тепло, он потянулся за толстой тетрадью. «Куда же вы так мчитесь, торопитесь», – Ваня улыбнулся мчащимся по некогда глянцево́й поляне лошадям, теперь поляна-обложка напоминала вытоптаный ипподром. Открыл, полистал и начал читать.

«... Давно уже меня никто не зовёт Ванюшей. Только мама, иногда. Всё чаще Ваней, где-нибудь в кабинете обратятся: Иван Иванович. Не сразу и сообразишь.

Ванюшей бы лучше...

Страна продолжала жить своей жизнью и вместе с ней я, поспевая, как мог.

В стране менялись эпохи и лидеры. Моё беспокойное отечество снова обещало очередное светлое будущее. Странно – и я, и все вокруг верил ему. А иначе как? Отечество похоже на корабль, на который не покупаешь билет – его купили задолго до тебя. И курс проложили, не спрашивая твоего мнения, исходя из собственных предпочтений, пожеланий, а частенько руководствуясь сиюминутными прихотями, капризами и упрямством: «Хочу мулатку, банановый рай и что бы непременно сейчас». Хм, «банановый рай», как и любая гастрономическая

мечта «банановый рай» быстро поедается, излишки гниют и пропадают. Рабсила, обслуживающая райские запросы, тоже портится и поддается разложению. Зависть и озлобление, лень и жажда наживы овладевают подлыми умами. Им хочется перемен. «Долой первые классы!» Чумазные машинисты, измождённые матросы бегут наверх, за ними устремляется остальной обслуживающий персонал, на ходу пересчитывая чаевые: «у, аристократия, жмоты, совсем зажрались!» Бунт на корабле-отечестве! Капитан и остальная праздная публика, бывшая элита заперта внизу: «нехай привыкает „аристократия“ хренова к нашим условиям! Ручки белые измажет. А мы в раю поживём, покейфуюем!» А корабль как шёл своим курсом, так и продолжает идти.

Новый капитан осмотрится на мостике, приноврится и вот уже слышишь уверенный окрепший голос: «Отдать швартовые! Поднять якорь! Машина полный ход!» Новая публика, ещё обживающая роскошные апартаменты первого класса, интересуется: «И куды же мы теперича?» Им подсказывают, обучают этикету: «Вы теперь не матросня какая. Вы, не Ермилка теперь, а Ермил Петрович, а вы, Глашка, не Глашка вовсе – Аглафира Ивановна. Герои новой эпохи. Ермил Петрович...» «А чаго тебе?» «Ермил Петрович, – укоризненно, – следует говорить не «чаго» – герою новой эпохи не пристало так выражаться – вы элита, будем образовываться в университетах. Итак: «Будьте любезны, осведомите меня». И, Ермил Петрович... «Слушаю вас?» «Вот видите: университетов не стоит бояться. И «бывшие» не за одно поколение манерам обучались и вместо «кофэ» «кофе» говорить учились. Ермил Петрович, галстучек поправьте». «Да ну его в ж...» «Ермил Петрович, Ермил Петрович, – осуждающе, – так положено – вы теперь лицо новой эпохи». «Извините, никак этот аглицкий узел не усвою. Мудрёный уж больно. У-у зараза». «А дайте я попробую». «Ты чего лезешь, да с грязными ногтями, Глашка! Галстук шёлковый, в самом Парижу купленный» «Во-первых, не Глашка, а Аглафира Ивановна. И маникюрам я теперича тоже образована. Не только вам университеты кончать. Во-вторых, прошу при дамах не выражаться более, и, в-третьих, в Париже. Париже!» «Вот хрень!» «Ермил Петрович! – в один голос!» «Ах, да-да. Глаш... Аглафира Петровна, не затруднит ли вас поправить мой галстук». «Браво!»

И вот в процессе, когда капитан осваивался со штурвалом и громкой связью, а шезлонги на верхней палубе шумно занимала новая светская публика, направляющаяся в вояж к «Райским островам» я застыл на лестнице.

Мимо меня прогнали в трюм несчастных «бывших». Исполнив исторические процессы и примеряя «приватизированные» бриллиантовые подвески, рубиновые кулоны и золотые цепи, наверх важно проследовали защитники и гаранты новой «свободной конституции». «Новые хозяева корабля». А я всё стоял в нерешительности, решая для себя глупейшую историческую задачу: «в чём разница между словами «приватизация» «экспроприация» и обыкновенным уголовным воровством? Мучимый совестью и, не обладая необходимой наглостью, я так и не решался, куда мне направиться: верх или вниз?

Находясь на корабле нельзя быть одновременно и «за бортом». И даже там, в бушующих водах, тебя заметят и прокричат: «Человек за бортом!» Движимые высшей гуманистической идеей люди на палубе начнут метаться, бросать спасательные круги, спускать шлюпку. Тебя под руки поднимут на корабль, приведут в чувство и сразу спросят: «Вы, чьих будете?» При гуманизме, оказывается, нужно спрашивать и определяться. Не ответишь сам, решат за тебя: «Да гляньте, при нём ни бумажника нет набитого, ни цепей золотых, ни, даже, запонок, бриллиантовых. Он с нижней палубы. Точно, точно – с нижней. Спускайте его вниз!» Капитан, согласно капитанской этике, добавит: «Налейте несчастному виски или коньяк...» «Кх, кх». «Ах, да... нижняя палуба, – капитан виновато потрёт лоб, – тогда водки ему. Водочки».

Так моя нерешительность и проклятая совесть, привычка задавать лишние вопросы, когда нужно просто хватать, сыграли со мной злую шутку: вместо положенной верхней палубы я очутился где-то внизу, между третьим классом и машинным отделением.

«Знамёна это важно».

А корабль, тем временем, набирал ход».

Старлей перестал читать и прикрыл глаза. Писал и не задумывался тогда: почему «положенной»? Почему я сам для себя решил, что верхняя палуба для меня, а вот, допустим, этому храпящему майору быть всегда внизу. Или наоборот.

Мнения и суждения – две беды человечества. Два столпа больше похожие на подводные камни и, причём, на самом глубоком месте, где дна не различишь. Идешь себе по течению, рассуждаешь себе, умничаешь: «А вы знаете, я бы на вашем месте поступил так и так... ой! Чтоб тебя...» Спотыкаешься, машешь руками: «Спасите, спасите!» К тебе участливо так наклоняются и поучают: «А я бы на вашем месте, тут кролем или брасом. Кричать бесполезно – захлебнёшься». Несёт тебя течением чёрте куда и уже не подводные камни подставляют подножки, а те что на поверхности, хорошо видимые грозятся разможжить тебе голову или другим способом покалечить. Им наплевать какого мнения ты о них и твои суждения о коварстве природы, о явном и скрытом их тоже мало интересуют. Рассуждай себе, коль так хочется.

Один вопрос мучил меня: не имея собственного мнения и суждения останусь ли я цельной личностью? Не превращусь ли в песочную фигуру, ветер подул, волна набежала, нога чья-то наступила и рассыпался. Распался на мелкие песчинки и стал уже не Ваней, а... мокрым пляжем, к примеру, или глиной, лепи, что в голову взбрёт.

Вот и получается, цветастые знамёна, и мордастые гербы, как лицо знакомого человека – они узнаваемы. О чём не спроси, уже предугадываешь, что ответят. У него сугубо своё мнение, у тебя личное отношение к данному вопросу, а взглянешь на древко с лоскутком в чужих руках и улыбнёшься: свой!»

Старлей оторвался от чтения. Люди всегда готовы какие угодно телескопы и микроскопы изобретать, заглядывать, любопытствовать, познавать, но внутрь себя, упаси бог, и другим не дам! Я – Священная роща и кто чужой покусится пусть пеняет на себя – красоваться его черепу вон на том колу. Клянусь!

«Люди прячут свой внутренний мир от посторонних, так же как всякий хлам прячется в каком-нибудь потаённом чулане, никто не видит, вот и чудненько. Наружу парадные гостевые, хрустальные люстры, книги на полках. Или много книг, или много хрусталя, это уж дело вкуса и культуры. Чулан имеет одно свойство: сколько его не убирай – всегда завален. Вот вам и выбор, на канделябры древние тратиться или в чулане прибраться, глядишь и почище стало в квартире, посветлее, посвободнее, затхлый воздух сменился свежестью.

Нет, не превращусь я в песочную фигуру, не рассыплюсь. И вовсе не мнения и суждения являются теми связующими растворами, коими скрепляется тело человека. Займусь-ка я уборкой в чулане».

Суждения и мнения, – старлей поморщился, – основа осознания: вот – это я, титан, олимпиец, и вы – все остальные. И обязательно там, подо мной. А как иначе, олимпийцу не гоже быть среди людей. Его место высокий Олимп. Его страсти, предпочтения, прихоти – обожествлены самим фактом рождения. Они святы. И кто покушается на них – люди – достойны презрения и осуждения. Олимпийцы всегда лезли в дела людей. Сталкивали между собой. В угоду своим стихиям устраивали свары и козни. Но если кто-нибудь сунет свой нос в дела заоблачных вершин, то бишь, мои, то постигнет его заслуженная кара и месть моя будет ужасна!

Каким же я был ничтожеством! – Ваню передёрнуло. Но выбей из-под ног суждение и мнение, и что?.. Пустота.

\* \* \*

– Кто ты после этого? Чё нюни распустил. Докажи ей и её хахалю. Докажи!

Сашка смотрел зло, он терпеть не мог «мужиков с соплями».

– И что доказывать? Кому?

– Да просто в морду...

– Кому?

– Да хоть ей, хоть ему. Без разницы. Будь мужиком, в конце концов. Я знаю – ты психануть можешь.

– Могу, а потому отстань, Сань, вон лучше наливай.

– И то дело!

Ваня выпил, поморщился и оглядел стол засыпанный крошками, самым сочным украшением которого были сморщенные маринованные помидоры и огурцы. Сашка сидел напротив, вальяжно развалившись на стуле, для него «закадычный дружбан» всё равно что хозяин. Иногда он начинал деловито осматриваться, задерживая взгляд на каких-нибудь мелочах быта, будь то самовар или магнитик на холодильнике. Его блуждающий самодовольный вид словно подсказывал: не унывай, – и будь у него хвост он, беспричинно вилял бы им сейчас из стороны в сторону, увлекая за собой: пойдём, побегаем, косточку поищем.

Сашка это приятель, сосед по району, так: «привет», «привет», «как дела», «не дождётеесь», – встретились, перебросились одной другой ничего не значащими фразами и в разные стороны.

А теперь приятель с заявкой на дружбу: «А давай я тебе душу полечу».

– А что и лекарство знаешь?

– Кто же его не знает, вот оно родимое. Проверенное. Прозрачное, аки слеза. Принял и просиял-таки.

– Пойдём полечимся.

– Только я того – на мели.

– Обижаешь. Я знаю, какой год на календаре: ты доктор, а лекарство за мой счёт. Рынок.

– Соображаешь. Мужик.

Ваня кисло усмехнулся, за последнее время ему столько раз меняли половую принадлежность (и родня жены, и её подруги, и прочие), то бабой безвольной обзовут, а то и тряпкой половой, что он начинал сомневаться и всячески рвался доказать: я не зря родился мальчишкой! Мужик я, мужик!

Сашка, подобно опытному психотерапевту, произнёс ключевую фразу («мужик ты, что ни на есть самый настоящий») и теперь входил в дом Вани без стука.

Было далеко за полночь. Сашка, поёрзав на стуле, наклонился, поднял с пола пустую бутылку и вопросительно уставился на Ваню:

– Тут пусто. До капли. Сходим?

– Иди.

– А ты?

– А я не хочу.

– Денег дашь?

Ваня безнадежно мотнул головой:

– Иди Сань спать. Иди.

– Сам ты иди.

– И пойду.

В качающемся шатком мире, осторожно ступая, чтобы не упасть Ваня спустился по нескончаемым нудным ступеням к морю. Долго бродил по дорожке вдоль моря, выискивая тихий закуток, под сенью притихших деревьев. Так раненный зверь ищет себе убежище, где можно в безопасности зализать раны. Нашёл какой-то уединённый крохотный пляж, всё достоинство которого, заключалось в труднодоступности, высокие кряжистые волноотбойники пугали не только волны своим неприступным видом, но и праздношатающихся курортников.

Ваня неуклюже спрыгнул на гальку и сел у самого прибоя. Хмельно шумело в голове, тихонько плескалось море и Ване казалось, что он весь без остатка растворяется в этом ночном

не ведающим света мире. Ущербный месяц испуганно выгянет из-за туч, качнётся на серебристой зыби и снова уплывёт за серый полог облаков, туда где обитали звёзды.

– Что я творю?! Ублюдок!

Процесс растворения неожиданно ускорился, только что чётко виднеющийся мол с белой полосой прибоя и далёкие огни города расплылись и размазались, как размазывается акварельный рисунок, когда плеснёшь на него водой.

– Что я творю?

Ваня обхватил голову руками и закачался, напоминая ванька-встаньку.

– Что тяжко?

Ваня замер и прислушался: Голоса?.. Показалось?! Допился!

– Бывает. В таких случаях особенное терпение нужно. Молитвенное. Тогда, может быть, Бог тебя услышит и поможет.

Глюки? Но хорошие глюки – добрые, – Ваня вытер слёзы на щеках. Ему вспомнился недавний семейный скандал. Разругавшись в пух и прах, на кухне с женой, он гневно перешагнул через разбросанные на полу комнаты игрушки и прошёл в лоджию. Острое желание крушить и ломать сдерживалось слабеющим разумом. Так только от воды, напирющей на плотину, зависит, быть катастрофе или не быть. Он тяжело сел на диван, со всей силы сжал кулаки и закрыл глаза. И тогда рядом, совсем рядом раздался знакомый детский голос: «Что папа, тяжело? – терпи, терпи». Он не сразу поверил. А когда поднял голову и открыл глаза, сын Дрёма уже вернулся к своим машинкам и увлечённо жужжал, подражая настоящим автомобилям. Кто это сейчас со мной?.. Дрёма?.. Да нет же он... дитя. В этот миг детский моторчик заглох, сын посмотрел на отца и понимающе, совсем не по-детски кивнул головой, чтобы тут же снова мчаться в игрушечном автомобильчике по узорным дорогам шерстяного ковра.

Кто тогда сказал мне: «терпи»? А сейчас?.. Может у меня того с головой? Может я ненормальный? А кто тогда нормальный, Сашка что ли?.. Кореша его, а теперь и мои?.. Ох, как подло внутри.

– Так постыло всё.

– Понимаю, тем более терпеть надо.

– Да кто здесь!

Ваня вскочил, напоминая шаолиньского бойца из школы «пьяный кулак». Никудышного бойца, который из всех наставлений учителя усвоил одно – как быть пьяным.

– Успокойся, мил человек. Я драться не собираюсь. Вот случайно забрёл сюда. Дай думаю, посижу, может, искупаюсь. Тут и ты следом спускаешься. Видимо не случайно мы тут оказались. Не случайно. Хм, чудны дела твои.

– Я не чудил.

Ваня, пошатываясь, вглядывался в непроницаемо тёмный угол, откуда раздавался странный голос.

– Нет – ты ждал чуда. Не совсем ты, значит, потерянный человек.

– Человек?.. Потерянный?.. Я дорогу домой помню.

– Все помнят чего-то, как им кажется. Сперва так уверенно ведут тебя, прихвастывают, мол, видишь зарубка, дальновидно я её сделал, верно? А потом, глядишь, и плутать начинают, едва смеркнется или другая какая напасть испытать захочет – каждый на своем и спотыкается, на своей же зарубке путаются.

– Слушай, лучше выйди на свет. Не смущай меня неизвестностью.

– А что, и выйти могу. И я к свету склонен.

Навстречу Ване вышел высокий широкоплечий мужчина. Держался он уверенно и бесстрашно. Остальные подробности Ваня не разглядел – очередная туча набежала на месяц и густая тень легла на море и близлежащие округи. Далёкие высотки освещали сами себя. Ни

возраста, ни во что был одет незнакомец – разглядеть было затруднительно. Увидев человека, Ваня облегчённо расслабился:

– Уф, а я уж было подумал...

Незнакомец протянул руку:

– Анатолий. Бездельник, радующийся жизни.

– Меня Ваней зови, – Ваня помолчал и добавил, – ты бомж, значит.

– Это как рассудишь.

– Я рассужу?.. – Ваня поискал место, куда можно присесть, нашёл камень и сел, – все кругом умные один я дурак.

– Не говори так, дурак значит – пустой. Дважды пустой. А ты чем-то мучаешься, страдаешь, я вижу. Выходит не пустой вовсе.

– Видит он. Вот ты и попался на собственный крючок, то, что ты видишь, не есть ли готовая картинка, нарисованная тобой и для собственного пользования.

Незнакомец подсел поближе и внимательно взглянул на Ваню:

– Чтобы разглядеть страдание человеческое, одних глаз мало. Сердце только и может, что кровью обливаться – жалеть. Душа – зыбь, можно пройти по кочкам, а можно и в топи забрести. Тут духом прозревать нужно.

– Дух он духу тоже рознь.

– Точно подмечено.

– Это не мной – Высоцким.

– А... песни. Все поют, все тычут пальцами в небо, хотят чтобы слушали, а себя слышать наотрез отказываются. Оттого и получается: на словах ангел животворный – внутри дух иступлённый. И я когда-то бардами увлекался, задушевно было, пока дух внутри меня не заворочался. И такую муку я через него испытал, Ваня, – Анатолий неожиданно улыбнулся, – и поделом. Боль, Ваня, индикатором служит – живой пока! А что дальше? Дальше-то как жить собираемся, и собираемся ли?

– Ты не поп расстрига случаем? Лечишь тут меня. Один поп – Сашка – у меня вон дома пьяный валяется. Долечился так, что без сил под стол свалился.

– Я свою веру через ту муку принял. Боль лекарством стала – исцелила. Тебе сейчас больно, не заливай раны бальзамами и настойками болеутоляющими. Средства эффективные, но временные. Духа чертеняку, который сейчас скребётся у тебя в груди – прогони. Не сожалей о нём. Это он заставляет нас по-своему мир, что вокруг нас, судить да рядить. И когда что неуютно ему становится, не по воле его, тогда он наливает в чашу гнева и зло, щедро наливает, от души, и подаёт: выпей, утоли, мол, жажду. Мы благодарно принимаем напиток сей, осушаем и отравляемся.

– Не складно.

– Что?

– Если он отравит собственное прибежище и ему жить будет тогда негде.

Анатолий рассмеялся и долго не мог успокоиться:

– Вот развеселил-то, так развеселил. Давно я так не смеялся. – Анатолий положил ладонь на плечо Ване, – чистая душа, ох чистая душа у тебя, Ваня. Не зря, нет, не зря мы встретились. Да этому духу, поверь мне, глубоко наплевать на тебя. Он постоялец: «Пожил, покутил, сгорело, дальше пойдём, вон их сколько рождается душевных закутков». Твоя душа сейчас страдает, а он что подсказывает: тебе сделали больно, а ты вдвойне. Отомсти за себя! Остервенись, рви, кусай. Будь мужиком, покажи, на что ты способен! Так?

– Так, Толя, всё так. Будто рентгеном просветил.

Ваня встал, подошёл к беспокойной воде, наклонился и плеснул себе на лицо.

– Море тёплое. Так ты не сектант, какой?

– Я не отделяю кусочек своего счастья от общего пирога. Пирог испекли для всех, тем и живу и радуюсь жизни.

– Ты уже говорил. Искупаюсь.

– Тогда и я окунусь с тобой.

Тогда Ваня до самого рассвета просидел с незнакомцем. Хмель после купания испарился и напоминал о себе неприятным привкусом во рту и тяжёлой головой.

– Вглядись, есть такой миг, когда, вроде, и тьма ещё полновластная царица вокруг, и звёзды незыблемы и взирают на тебя с высоты с космическим презрением, но нет, что-то подсказывает тебе: близится конец ночи. Именно с этого мгновения и тьма – уже не тьма, и звёзды сразу потускнели. Сколько сейчас?

– Полчетвёртого.

– Петухам рано петь. Зато тебе уже известно – грядёт рассвет. Вера, вот она какая, уму неведомо, темно, а ей и во тьме светло как днём. Вот ты спросил меня, как тебе дальше жить. Этим рассветом и живи. Ночи неизбежны. А ты всё равно живи рассветом, и звёзды бывают путеводными, и ночи тихими, и сны летучими. А ты в ясный день верь. И он грядёт. Неизбежно.

\* \* \*

Да были сны. Старлей вспомнил первый сон. Всёпоглощающее пылающее око. В том сне он ощутил себя поленом перед топкой, и до сих пор озноб пробирает. Кошмарный, невыразимо страшный липкий сон.

Анатолий стал его другом. Настоящим, которых много не бывает. Истинная дружба, хотя мы разные: один «плюс» другой «минус». Не важно, кто «плюс», кто «минус» – вместе мы батарейка, от нас зарядиться можно и лампочку зажечь. Анатолий всё твердил, что он раб божий. – Старлей улыбнулся, вспомнив знакомое лицо с твёрдыми волевыми чертами. – Когда я слышал от него «раб божий», тут же почему-то вспомнил Дрёму, его детские глаза и сразу решил: нет Толя мы не рабы – мы дети любимые. Вслух не сказал. Зачем? Путь может быть один – дороги всегда разные. Были другие моменты в нашей дружбе, которые не разлучали нас, но разводили наши дороги в стороны. То он в гору – я по ущелью, то по разным хребтам к одной вершине поднимаемся.

Толя всюду находил войну. Со злом естественно. Он терпеть не мог несправедливость, и когда кого-то притесняли – сразу в бой.

«Ненавидеть зло: не замечать его, не обращать внимания. Оно тем и питается, что вокруг зевак много и соболезнующих», – так думал Ваня и пути с Анатолием снова расходились. Зло питается человечинной...»

Фу-ты, совсем озверел я на этой войне, – старлей повёл плечами, будто его свело судорогой, – надо же – человечинной. Душами оно питается, а, впрочем, какая разница. Итак, на чём я остановился: «Воюя со злом правой рукой, той, что с мечом, Толя, не подкармливаешь ли ты его левой рукой?» «Сеятелей много, пожинать некому...» Тогда он – старлей – сравнил зло с актёром, удивительная метафора: «Не будет зрителей, и актёр покинет сцену – играть будет не перед кем». Толя махнул рукой и ринулся в очередной бой. Потом мы долго не виделись с ним, а когда повстречались, Толя первой же фразой произнёс: «Я прочитал в Библии: мы дети любимые». Ваня снова промолчал, но был несказанно рад, открытию друга. И тогда же решил внимательно прочитать всю Библию, раз в ней давно написано то, на что они сегодня мучительно ищут ответы. И прочитал.

Это было неприятное откровение: святая книга и столько крови, зла, человеческих страстей?! Ваня много раз порывался прервать чтение, находил отговорки: текст мелкий, написано каким-то древним языком корявым языком, и снова читал. И был вознаграждён. Две строчки, всего лишь две из тысячи триста страниц убористого текста вселили в него веру – святая книга! Когда он прочитал их, то отложил Библию, долго сидел и вид у него был отрешённый и уми-

ротворённый: зачем все вы (мы) бегае́те взад-вперёд, успокойтесь, присядьте рядом и посмотрите, какой чудный мир нас окружает! Две строчки, вот они: «Возлюби ближнего, как самого себя! И возлюби Бога прежде себя!» Тогда он, кажется, прошептал: «Дрёма». Или не шептал, а только подумал. И тогда же он подумал: мы обязательно встретимся, Толя, и ты обязательно скажешь: «Ненавидеть зло – это не замечать его. Лишать тем самым сил».

Второй сон был удивительным. Лёгким, воздушным. Неземным. К нему спустились с неба разноцветные облака, объяли со всех сторон и земная тяжесть мгновенно исчезла. Облака подхватили его в радужные объятия и понесли куда-то с невероятной скоростью. Скорость – это подсказывало ему его сознание, опыт – полёт не был похож на всё прежде испытанное, и, вообще, на земное. Внутри облаков ничего не ощущалось, он жил, не нуждаясь в чувствах и физических усилиях. Куда понесли, зачем – он не спрашивал. К чему? Сказочно лёгкие облака и это невыразимое чувство свободы. Так чувствует себя не само изделие созданное творцом, но идея.

Первый сон служит предупреждением, второй пророчеством».

Воспоминания прервались, как рвётся старая кинолента, замелькали отдельные кадры, они прервались корчащимися полосками, какими-то буквами, белый неживой экран и всё погрузилось в сумрак.

Старлей пошевелился, вытягивая к печурке и разминая ноги. Сегодня он был куда живее себя вчерашнего. Вчера, со своим олимпийским Я я больше походил на куклу с механическими глазами. Вроде и моргает, а мертвяк мертвяком. И всё-таки, Ваня, ты не лицемеришь сейчас? Каким-то образом ты соотношишь: вот я – Ваня, тут у печурки храпит пьяный майор, там ворочаются ребята, молодые и те, кто считает себя опытным, обстрелянным. Спят хитрецы и умники, обжоры и скромники, хамы, наглецы и тихие души, «ботаники» и «крутяки».

Вон там в углу спит Костик – рубаха-парень, рядом раскидал руки Женька – ловелас, ни одной юбки не упустит, вон и с Катькой из медсанбата уже шашни крутит, не стесняется. В твоей голове одни портреты-характеры и рисуешь их ты – Иван!

Рисовал. Теперь рисует жизнь вокруг меня. Женька рисует, Костик рисует, майор... майор сейчас ничего не рисует, разбуди его и кисточку выронит, – Ваня улыбнулся, – для меня суждение и мнение теперь не Олимп, а тончайшая оболочка. Прозрачная, как в глазном яблоке. Каждый может проникнуть внутрь, отразиться на сетчатке и свободно покинуть мой мир. Останется образ, похожий на дуновение. Наши подобия соприкоснутся, поприветствуют друг друга и каждое пойдёт своей дорогой. Меня могут лобызать, хлопать по спине, отталкивать, оглядывая с подозрительностью или презрением, ненавидеть... Таковым будет их суждение и мнение обо мне. Бог нам судья. Кстати, вот то, что может объединить нас: независимый ни от чего и ни от кого судья. Чей суд нелицеприятный и не земной. Да и судьёй мы называем его, скорее по привычке – имя судье Любовь! Встретив Любовь на Земле, я прослаблю эту встречу...

Угомонись, старлей, «прослаблю». Жить не лозунги над головой таскать. Потаскал и бросил в общую кучу, до следующего случая. Одно радуется: твоё мнение и твоё суждение больше никогда ни в кого не выстрелят. Не убьют и не ранят!

Старлей опустил руки, будто в них сразу иссякли силы, и опёрся спиной об острый угол ящика. Хватит разглагольствовать, вот наступит новый день и при свете его будешь героизмовать. Укрепи! Укрепи, когда колени задрожат и тело запросит пощады. Укрепи!

Ваня быстро выпрямился, резким движением смахнул слезу с глаза. Отставить нюни! День, один день – и вся жизнь!

Что же было потом?

Потом было рождение. Чьё? Ну уж точно, не моё! Я родился в одна тысяча девятьсот... А кто сказал, что не моё!? Всё верно: в тот день родился мой сын, а вместе с ним родился я. Заново.

Ваня отложил толстую потрёпанную тетрадь и взял другую, ту, что без картинки на обложке, зачем-то при этом тихо нашёптывая:

– Заново. Заново... Странно, почему я писал не от первого лица. Звучит как: «Мы царь...»

«Вокруг сновали люди. Праздные – с цветами; и ожидающие чего-то – без цветов, но с сумками. Между ними торопливо сновали медсёстры, нянечки, в белых халатах они были похожи на пронырливых ангелов лишённых крыльев и от этого сразу погрузневших. Они шаркали тапочками и цокали каблуками.

К белым халатам с надеждой устремлялись те, кто толпился в большом холле и на улице. Окружали нянечек и медсестёр, молитвенно заглядывали в глаза, о чём-то просили, на чём-то настаивали.

Ждал и Ваня.

На третьем этаже, в общей палате, измученная предродовыми схватками стиснув зубы, стонала его жена. Стонала от боли. В перерывах плакала от обиды – палата напоминала ей прифронтовой госпиталь: кровати, кровати, белые дужки, белые стены. Скособоченный светильник на потолке, висящий на честном слове электрика. Она плакала от зависти: у других мужа, как мужа: «пристроили жён в одноместные человеческие „люксы“, а тут одно убожество, ощущение свиноматки. Отношение такое, будто ты не готовишься родить нового человека, а являешься некой машиной, штампующей детали. За тобой следят, обслуживают и жмут на все рычаги: ну давай же, тужься!»

Ванино воображение живо представило себе справедливое ворчание жены, он поёжился и виновато огляделся вокруг. Ну что, совестливый! Даже роды жене не можешь организовать комфортные. Денег нет! Ну, ну. Другие вон... Самобичевание прервал резкий сигнал:

– Ты чего! Оглух что ли?

Ваня отошёл на обочину и пропустил важный чёрный «Лексус» с кавказким акцентом. Вообще-то машины он любил, но сейчас возненавидел. «Ездят тут всякие. Букеты, шары, фотографы. Позирующая медсестра. Полуобморочная мамаша и рядом толстый производитель счастья. Какой счастливый отпрыск он на сей раз „сотворыл“?»

Сегодня Ваня прождал зря. На следующий день его тоже не пустили и только знакомый усталый голос из телефона сообщил:

– Мальчик. Три с половиной. Такой... такой хорошенький. Крохотный.

– Пустите меня!

– Не положено.

– А тому хрычу можно значит!

Тётка внушительных объёмов, чей белый халат напоминал лоскуток, накинутый на скалу, грудью загородила дверь. Её глаза смотрели заинтересованно: «А ты что дашь? Ничего? Так что же ты в герои лезешь!»

– Так, папаша, я сейчас охрану вызову, будете нарушать!

Сына Иван увидел уже протрезвев.

Увидел и сразу словно очнулся.

Вот он тот взгляд! Вот оно его детство! Давно забытое, заброшенное куда-то в чулан, где под слоем пыли дождалось очередной генеральной уборки. Тогда он вытаскивал из хлама неказистый пистолетик вырезанный рукой отца, крутил в руках, глупо улыбаясь. Силился припомнить, смешно морщил лоб, пытаясь хоть так расшевелить неповоротливую память. Память бродила по тёмным закоулкам и заходила куда угодно, но тщательно избегала одной двери: «Детство». Он подталкивал: «Ну что же ты, как вкопанная!» Память оглядывалась, соглашалась, но дальше идти наотрез отказывалась, упрямо твердя: нельзя. Тебе, взрослому никак нельзя! Перетопчешь там всё. Детство-то оно ма-аленькое, хру-упкое. Вон, иди, зовут:

– Ваня, кричу тебя, кричу. И чего ты с этим пистолетиком носишься? Дел невпроворот. Нужно успеть...

Иван осторожно взял из рук торжественной медсестры свёрнутое конвертом одеяло. Сердце учащённо забилось, вот глупое и чего? Все когда-то становятся родителями (и даже «лексусы»). Приподнял уголок и заглянул внутрь.

Обыкновенный младенец, шаловливо выставив крохотное ушко из-под чепчика, продолжал беззаботно спать. Вот те на, и носом не поведёт, спит, будто ничто земное не смеет побеспокоить его сон, – Ваня довольно покачал головой:

– Спит.

И верно. Верно – вот оно моё потерянное давным-давно, детство! Потерянное второпях, обронённое на бегу по дороге метко названной кем-то «отрочество». Вот уж точно – отрёкся, так отрёкся. Махнул рукой: что ты можешь наивное детство? – и тут же поклялся быть сильным, успешным, героем. Героем? Кто он – герой? Обладатель «лексуса», владелец миллионов, сильные мира сего, может защитник отечества, триумфатор в конце коноцов?.. Ваня, Ваня, вот спит твой сын, он ещё пока не осознал себя в этом мире, не накачал мускулы, не поклялся защищать его – свой мир – всеми правдами и неправдами. Его может сейчас каждый обидеть, ткнуть, пнуть и даже... убить, – Ваня внутренне содрогнулся, и крепче прижал к груди кружевное одеяло. – Порву каждого!.. Болван ты, Иван, люди оттого и мечутся по Земле, сооружают стены, вооружают телохранителей и армии, придумывают хитроумные коды и замки, что знают – они смертны. А это дитя спит так, будто на все сто процентов и даже больше, уверенно: ничто не случится, если этому не суждено случиться, ибо всё небесное воинство, слышав его плач, расправит крылья и укроет ими от всех бед и несчастий! Он дремлет как сильный, он сейчас могущественнее любого земного владыки! Он не боится, не изворачивается, не гневается и не судит. И жизнь, и смерть у него преспокойно умещаются в одном вдохе... – Дитя повело носиком, приоткрыло веки, взглянуло куда-то в вверх, не замечая никого, зевнуло и снова уснуло, – ... в одном взгляде. Вот то, что ты потерял Ваня – детскую непосредственность и безоговорочную веру: всё в этом мире сотворено любовью. А раз так, то нечего бояться и переживать. Смотри, как дремлет, как у Христа за пазухой.

– Дрёмка, – прошептал одними губами Ваня.

Сердце в груди не унималось.

– Машина ждёт там за роддомом...

Куда ты неуёмное? Остановись. Я теперь больше никуда не спешу. Ты взгляни на сына. Куда спешить? Что догонять? Всё величие этого мира, всё к чему он – мир – стремится, спотыкаясь, падая, расталкивая остальных, все его гранитно-мраморные нагромождения, рекорды скоростей и высот – ничто! Оно рассыпается в прах и падает ниц перед ним, перед этим крохой, мирно посапывающим и ни о чём не подозревающим. Вот она истина, не оспаривающая своё право на жизнь – она есть! Она будет несмотря ни на что. Злая воля, потопа, и землетрясения, никто и ничто не способно не то, что убить это дитя, но даже приблизиться к нему! И знаешь почему, глупое? Ты боишься не успеть, остановиться, боишься инфарктов, малейшая тревога и вот затрепыхалось и холодеешь в груди, хотя совсем недавно властно гнало кровь по венам, повелевало, гордилось, и кичилось, желало и отвергало! А вместе с тобой и я – твой раб. Дрёмку не назовёшь рабом. Раб дражайший? Взгляни на него, ну разве может раб так уверенно спать, не думая ни о чём? Что?.. Сумничало! Впрочем, это твоя, если хочешь, природа – умничать. Да, дитя может проголодаться, оно испытывает боль и холод. Верно – всё верно. Какое ты смешное, сердце: собственные страхи ты примеряешь на весь мир, Вселенную. Тюбетейку на солнце. Будет плакать, обязательно будет плакать – он человек, рождённый на земле. И он человек по образу и подобию. И покуда он не прислушивается к твоим страхам, а живёт свободно: и рождением и смертью, – он поистине велик! Чувствуешь разницу?

– Что ты там шепчешь, Ваня?

Жена прижалась к мужу, с тревогой и радостно.

– Да я говорю сердцу: не обольщай больше меня далёкими берегами. Я обрёл свой берег. Вот он Дрёмка.

– Какой же он тебе «дрёмка»? Что за имя такое?

Ваня рассмелся:

– Это не имя, любимая, это состояние когда мир в тебе и ты в мире.

Жена не поняла, но улыбнулась:

– Глупый ты у меня. И за что полюбила, сама не знаю.

Сына назвали обыкновенно, никто не задавал лишних вопросов в ЗАГСе, когда выписывали Свидетельство о рождении. И только Ваня продолжал настойчиво называть сына Дрёмой. Родные и близкие привыкли к этой отцовской блажи и сами нет-нет, да позовут:

– Дрёма, иди сюда...»

\* \* \*

Старлей осторожно закрыл тетрадь. Весь его вид теперь не соответствовал обстановке полевой палатки, забитой храпящими телами.

Представьте себе тесное, едва освещённое каким-то сумрачным багрово-кирпичным светом пространство, пожираемое в углах вечно ненасытной тьмой. Внутри пространства воздух настолько насыщен и плотен, что представляется некой застывшей субстанцией, что-то вроде холодца, в котором среди дымных колец, прелых испарений, угадываются неясные контуры двухъярусных коек, табуретов, хаотично развешенного камуфляжа, портянки вперемешку с носками и оружием, в центре измятая избитая временем буржуйка, и вдруг в этом неаппетитном студне замечаешь нечто, что заставляет тебя ощутит рвотные позывы и отказаться от дальнейшего поедания (лицезрения) любимого «холодца». «Там же человек! Вы чем меня кормите тут?»

Старлей единственный в палатке, о ком можно было смело сказать: живой, не уморенный смрадным воздухом реальности. Среди кровавых бликов, призрачно колыхающихся на грязно-зелёном потолке, бледное лицо будто имело собственную внутреннюю подсветку, и этот свет нельзя было сравнить ни с чем на Земле. Он служил не для зрения, он освещал душу. Губы, никогда не скрывающие своего настроения, то печальные, то обиженные, а то откровенно хохочущие теперь не выражали ничего, вслух. Как абажур мягко рассеивает свет, так и губы теперь молчали: мир вам, люди, мира и любви. Глаза смотрели отрешённо, сквозь палатку, сквозь заснеженные долины и голые ветки деревьев, и не трепетный задуваемый сквозняками огонь буржуйки отражался в них, но сияние.

Любому случайно зашедшему в палатку или пробудившемуся, старлей показался бы явлением не от мира сего, духом, пролетающим над вымершими селениями, духом удивлённым и спустившимся вниз убедиться: а есть ли тут вообще живые? Жизнь!

Живые были, были и мёртвые, и умирающие.

Позавчера... да-да – позавчера жестоко и мучительно умирал человек. Пленный. Все почему-то сразу решили и вынесли приговор: он виновен во всех наших бедах!

– Он, он стрелял! Мне ли не видеть. У меня оптика, знаешь, какая! У-ух, гад.

И все и сразу поверили. На войне верится легко и просто: там они, тут наши. На войне вера облекается в форму, обвешивается значками различия и поднимает знамёна. Там – зло, тут – правда. А разве злу можно прощать? Ни за что! Ненавижу!

– Бей его гада, ребята! Он Лёшку очередью скосил.

Пророчества. Сколько мистики вкладывается в это слово. А никакой мистики, мы – люди – сами выдыхаем в воздух всё, чем мы дышим, наши чаяния, мгновенные прихоти, мы выдыхаем настроения и болезни. Маты. Пленному совсем не нужно было становиться пророком собственной судьбы, не нужно было зубрить иностранный язык в школе – он понял

всё и сразу. Глаза, только что живые, преждевременно потухли. Это были глаза осуждённого на казнь, продолжали моргать одни веки, затравленно и всё медленнее, а глаза, глаза изъяли (уже за ненадобностью) и вместо них вставили блеклые стекляшки (на этот случай и стекло сгодится).

Но дальше что-то пошло не так, не по-военному чётко – без лишних вопросов – не так. На защиту зла выступил тот, кто олицетворял добро и, значит, был «нашим» по всем знакам различия. На защиту избиваемого пленного бросился Ваня-старлей.

– Не трогайте его!

– Да ты чего, старлей, он Лёшку!..

– Отставить!

Из-за хрупкой спины Вани, тяжело хрипя, затравленно выглядывал одним глазом пленный, второй разглядеть за сгустком крови было невозможно.

– Старлей, не бери греха на душу, отступись! Я за Лёшку знаешь... до конца пойду. Он мне другом был. По-хорошему прошу, уйди.

– А ты бы хотел быть сейчас на его месте? Ты что ли не стреляешь в их сторону!

– Да мне насрать на ту сторону, понял старлей! Мой друг Лёшка был на этой. На этой! А вот ты на какой?

Лёшку любили все – он скрашивал своей хриплой гитарой промозглые вечера. Три аккорда, но пел... душа отгаивала, и посреди хмурой зимы, нечаянно вспоминалась озорная весна. Однажды он пел посреди боя. Вот взял просто так – и запел. Никто ж не знал, что они с радистом последний спирт перед этим употребили. «Что б душа, значит, не болела. Чё он там у тебя в загощнице, выдыхается». Комполка ругнулся когда узнал: «Без связи могли оставить, черти...», – и оценил пение – представил к награде.

Лёшку любили все. Ваню спасли звёзды на погонах и слава «Иоанна»:

– Да чего его дурака слушать!

Ваню кто-то сзади толкнул, да так, что он потерял равновесие и упал. Тут же ловко набросили сверху вонючее тряпье на голову, пару раз въехали по почкам «для науки, молчи, дурак, когда все хотят», – и вопящего, извивающегося и беспомощного оттащили в сторону, ощутимо больно пиная для острастки. Когда бледного Ваню, отпустили, он сбросил с головы старое одеяло и с трудом поднялся. В голове шумело, отбитые почки ныли и обиженно покалывали в боку: мог бы и промолчать!

Старшина примирительно протянул руку:

– Что же вы так неаккуратно, товарищ старший лейтенант, нужно под ноги смотреть, так и убиться недолго. Мы уже с ребятами испугались за вас.

Ваня, ничего не ответив, взял протянутую фуражку и отошёл в сторону, туда, где в грязи и муках умирал человек с перерезанным горлом. Назвать то, что он увидел, человеком, можно было с натяжкой. Измазанная глиной форма, слипшиеся волосы – корчившийся в конвульсиях комок грязи, странным образом когда-то оживлённый рождением и вот теперь возвращающийся в привычное состояние. В глину. Жизнь иссякающей вязкой струйкой крови потихоньку покидала тело пленного, стекала в лужу и смешивалась с бурой жижей.

Где грязь, где жизнь и была ли жизнь в этом перемазанном комке непонятно для чего облачённом в форму цвета хаки? – Ваня не скрывал тогда своих слёз:

– Что же мы творим с вами, ребята? Что мы творим. Вы... мы – все грязь! Какая же мы грязь!

– Утрись, старлей, что ты как тряпка. Он сам напоролся на нож. Нечаянно споткнулся.

Позавчера.

Как стереть эту память, а? Чтобы детство, что теперь воскресло и живёт во мне, никогда, никогда не соприкасалось с этой избирательной мерзавкой! Хотя нельзя так однозначно. Она – память – и радугу рисует, и луга горные в цветах изобразит, и лицо некогда любимое так

представит, что в уголках глаз печаль скрытую прочитаешь. Одного этот талантливый художник отобразить не может – то, что за памятью. То что «до» и «после». Образ детства потому и не пишется памятью, что он не вписывается в рамки самосознания. Когда человек заявляет: «Я сам!»

Детство это жизнь, кто же может отрицать сам факт рождения? Но жизнь за пределами существования, да-да: и плоть есть розовая, нежная, и она легкоранима – и боль, и голод присутствуют ей, и, тем не менее, у существа этого напрочь отсутствуют навыки защиты; на что оно надеется? Какие силы защищают его в мире, где прогресс чуть ли не официально (научно) заявлен как борьба за существование и к главными достоинствами любого индивидуума причисляются: сила мышц, крепость костей и острота клыков? Ничего этого у младенца нет. Он душа, творение бестелесное едва прикрытое тонкой прозрачной кожей. Душа обнажённая – ей нечего прятать, она правдива как никогда потом, когда вырядится в смокинги и платья, облачится с головы до ног в броню. Память всегда тактильна, увидеть, пощупать – запомнить. Новорождённый только привыкает к чувствам, он примеряет их: нежность, грубость, внимание, безразличие, – его чувства познают сами себя, они безвкусны, не остры, не солёны... Стоп, стоп, стоп, так можно и на целый роман нагородить, а читатель сегодня нетерпеливый – искушённый.

Дрёма каким ты стал? Удосужишься ли открыть эти послания непутёвого отца. И не только открыть – прочитать, неторопливо, вдумчиво. Ведь непутёвым я был до твоего рождения, а заглянув в твои глаза, я увидел дорогу, однажды покинутую и потерянную мной. Дорогу, ясно просматривающуюся до момента рождения... и дальше. Так однажды мне приснился странный сон, в котором дорога представлялась... нет, не буду забегать вперёд. Скажу одно, заглянув в глаза моего новорождённого сына, я будто родился вместе с ним. С одной единственной оговоркой, мой сын был свободен, я же напоминал сбежавшего заключённого с кандалами, и мне предстояло ещё сбросить злосчастные цепи. А заодно и знамёна, и прочее, что мешает нам идти по жизни свободно.

Ване захотелось записать эту последнюю мысль в тетрадь. Он взял толстую, потом вспомнил, что она исписана вся, от корочки до корочки, отложил и потянулся за тонкой. Передумал и махнул рукой. Одна исписана, в другой сказано всё. Когда признаёшься в любви, говоришь: «Люблю!» – другие слова о красоте, избранности, и тем более клятвы звучат фальшиво. Они даже не звучат.

Эти тетради завтра отдам майору. Он НШ и к бумагам у него особое, трепетное отношение, он расшибётся, но передаст их тому, кому они предназначены.

И больше ни слова. Всё написано, прочитано и теперь время свершения. При этих словах, тело старлея сотряслось, будто оно замёрзло и теперь пыталось судорожно согреться.

Ване почудилось, что стены палатки начали сереть. Там за ними больше не было ночной зябкой тьмы, и разгоралась новая заря. Ваня поднялся, накинул куртку и вышел наружу, ему хотелось убедиться.

Было темно, ветер, правда, утих. Ни звука. Нет, вот что-то брякнуло, заставляя напрячь слух и зрение. В этом мире безмолвие невозможно – он всегда в движении.

Зачем тебе безмолвие, Ваня? От него веет холодком и в нём ничего не угадывается, как ни напрягай чувства. К безмолвию можно приблизиться разве что в склепе, отгородившись от мира толстенными каменными плитами. Вот изворотливый ум и тут создаёт лабораторные условия, пытается втиснуть необъятное, необозримое в черепную коробку. Ещё немного и он заявит: безмолвие – это смерть. И начнёт увещевать: ты смерти ищешь? Кто же её ищет-то, из живых?

Но вот судьба, жизнь сама привела меня туда, где смерть, и хозяйка, и нечаянный гость, и актёр, и зритель, и ветер, и любое дуновение – её дыхание. Как же так получилось, жизнь? Ты боящаяся самого упоминания о смерти, самостоятельно и весьма бодро, подталкиваемая

надеждами и вдохновляемая чаяниями, светлыми мечтами завела саму себя в ад? В царство смерти. Всё равно, что самому, не осуждённому ни одним судом на земле, подняться на эшафот и сказать палачу: я полностью в твоей власти, руби. И палач-то сконфузится: за что, зачитайте приговор, так дело не пойдёт, не по закону! А ты напирался: да скотина я, скотина, скотине какой приговор? Не логично, правда? Разум восстаёт – вздор! И, тем не менее, ты, Ваня, шёл, шёл себе во тьме. Представлял, что идёшь далеко, далеко, за тридевять земель в царство всеобщего счастья, а на самом деле спускался в глубокий сужающийся котлован по спиральной дороге (выбирал-то ты лёгкие пути). Вот и зашёл, вроде как на вершину, а вершина оказалась самым глубоким местом, последней точкой, тупиком. И владыка этого котлована – смерть. И дорога, что вниз, что обратно, вверх – ад. Эх, жизнь, жизнь, а я доверял тебе. Сердце, почему ты не стучало, не билось в груди, когда я беззаботно вышагивал вниз. Чуткое сердце, сжимающееся при малейшем беспокойстве, боли, тут ты моментально реагировало, а главное: где твой страх – прозевало. Вот и надейся после этого на тебя. Какие же ориентиры нужно иметь, по каким вехам шагать?

Ваня поёжился от морозца и запахнул куртку.

Дрёма. Каким ты стал?..

Нет – всё верно, скоро будет светать. И пусть мгла вокруг и снег будто саван, а что-то вот угадывается, так тяжёлый маятник неотвратимо, под действием моментов сил, приближается и грозит раздавить всякого, кто окажется на его пути. И сердце стонет: уйди, не стой на пути, расплющит ведь, и что мне делать с тобой! А ничего – само безмолвие теперь спасение моё. Оно не шепчет, не дёргает за руку, не повелевает. Ты живёшь верой и маятник в последний миг, в самый последний из возможных, замирает перед самым носом и медленно, медленно, почти незаметно начинает обратный, спасительный бег. Не по приметам угадываем мы, когда ночь, со вздохом, оставляет трон и жестом приглашает день грядущий.

Скоро настанет новый день и всё что будет решено в нём, сказано, станет предвестником жизни из царства смерти. – Ваня внутренне улыбнулся: вот уж точно винегрет из словесов.

Он перешагнул через растяжки, удерживающие шаткий полог палатки, пересёк полянку с одиноким кустом посередине, похожим на закопанную метёлку и углубился в оголённые заросли ольховника. То ли старлею стало плохо, то ли по другой какой причине, но он как-то неумело схватился за гибкий ствол, и тот прогнулся, увлекая за собой обмякшее тело. Так и замер Ваня: коленями на снегу и удерживая рукой над собой согнутую луком промёрзшую ольху. Из глаз его катились редкие горячие слёзы, лицо стало невероятно подвижным. Оно не гримасничало, ни один мускул не дрогнул на нём, но всякий увидевший сейчас это лицо воскликнул бы: о, сколько жизни в нём, оно кричит без слов, оно столь выразительно, что любая мимика тут ни к чему. В нём свет! В нём отчаянье и вера, мука и преодоление боли, просьба и решимость.

Ольха качнулась и начала выпрямляться, напоминая протянутую руку спасения, за ольхой медленно поднялся с колен Иван. Вздох одновременно с хрипящим стоном вырвался из его груди, так из горного ущелья вырывается на морской простор бурный поток.

– Как дитя... И жизнь, и смерть в одном вздохе... в одном взгляде... И смерть и жизнь...

Едва слышно прошептали губы старлея, но в словах, как они были произнесены, был слышен отголосок тех бурь, что бушевали у него в груди. И снова тишина, и больше ни слова. О том, как сверкнули молнии и низверглись небесные потоки, как собирались вместе бесчисленные ручейки, журча по склонам, огибая камни, как образовывались вскипающие пеной русла, там, где недавно было сухо, и вот уже урчит водоворотами, затопляя теснины грязное, бурное наводнение. Стихия играючи выкорчёвывает вековые деревья и тащит за собой обломки скал. Гул стоит такой, что не слышишь собственного голоса, он взывает к разумности. Напрасно: какой разум, где логика в этом торжестве хаоса и разрушения?! Дубы, перемолотые в щепу, горы стёртые в мельчайшие песчинки превратились в грязный поток сметающий

на своём пути всё, что называлось жизнью, тянулось к солнцу, свету... И вот всё это смыто и кто, взглянув на ту высохшую корягу представит себе утопающую некогда в листве крону? Да и сам поток – миг – пронёсся, низвергаясь с высоты, и превратился в испарения. Облачком среди мирной лазури. И что заметит сторонний наблюдатель, пришедший позже на место событий? Ничего. Конечно, он может потом пройти по следам событий и оценить масштаб, по вывороченным корням и стволам в несколько обхватов, брошенным на берег словно и не могучие деревья вовсе – так, щепки, веточки. Только тот, кто пережил, кого несла беспощадная стихия, превращая одежды в лохмотья, сдирая кожу в кровь, кто цеплялся за каждый куст и осознавал: напрасно, никакие физические силы не способны преодолеть разбушевавшуюся природу, так бабочка не может быть чем-то иным – она бабочка. И век её – день. Всё рождённое тут, здесь и останется. И тогда человек ищет спасение в чуде. Он обращается к тому, что раньше представлялось смешным, не достойным внимания здравомыслящего ума: ах, оставьте этот детский лепет, мы же взрослые люди! Доводы и факты, неопровержимые постулаты, столпы, казавшиеся такими несокрушимыми, уносятся вместе с песчинками пенными водоворотами. Оголение и беспомощность... Как дитя. Тот, кто поймёт это состояние, поверит в него, перестанет барахтаться – спасётся. Но как?! Мелькнут руки, ноги, ужас в глазах: поздно! Вот когда приходит осознание слова «поздно». Запоздало. От палатки до ольховой рощицы несколько десятков шагов. Не больше тридцати. (И лет Ване было не больше тридцати.) Но дались они ему нелегко, с каждым шагом он чувствовал, как наливаются усталостью ноги и наступил миг, когда они подогнулись в коленях и он опустился на снег. Выглядел он так, словно каждый шаг прибавлял ему несколько лишних незаметно пережитых лет. Брови насупились, образуя сеть морщин вокруг глаз, нижняя губа беспомощно вздрагивала, щёки ввалились, отчего лицо, когда он поднял его к небу в сумеречном свете, напоминало мумию. Взгляд старлея что-то мучительно выискивал среди мятежных туч, они будто спрашивали их о чём-то, а те оставляли его вопросы без внимания, безучастно проплывая над самой головой и засыпая его снегом. Затем лицо старлея посветлело. Он слизнул с губ тающие снежинки, и вкус талой воды имел неожиданное живительное воздействие на него. В мумию возвращалась прежняя жизнь. Тени покинули впадины на щеках. Губы заблестели. Брови больше не хмурились, они приподнялись, из-под них снова выглянули глаза вспыхивающие искрой от малейшего намёка на свет.

Ваня, по-детски, неумело, тыльной стороной ладони стёр слёзы с лица и взглянул на низкие тучи. Для себя он решил давно: «Все университеты, преподаваемые нам убелёнными седеной профессорами, и просто, знанием и опытом поколений, университеты дипломированные, и просто удовлетворённо брюзжащие: „Ну что ж, можешь, а говорил, не получится“. Они образовывают, затачивают тебя и закручивают в механизм – работай. Человек не болт, ему по любви жить хочется. А любовь не измеряется шагом резьбы. Механизм ломается. Любовь вечна и познание её – глупость. Ею жить надо, дышать, как делают это младенцы: всё принимаю любя».

Решил-то давно, но эта школа оказалась самой трудной. Прозреть, чтобы увидеть зло и сразу ослепить себя: «Ненавидеть зло». Ваня снова вздохнул, на сей раз свободно не стеснённо, так вздыхает человек, решивший трудную нравственную задачу.

– Ну и пускай ночь, новый день-то настанет всё равно. И это чудно, – и улыбнулся, как мог улыбаться один лишь Ванюша-старлей – беспричинно радуясь пролетевшей снежинке.

Он ещё постоял несколько минут, наблюдая, как медленно выпрямляется серый ствол ольхи, ободряюще погладил его, повернул обратно к палатке и уверенной походкой возвратился назад.

И обратно не более тридцати шагов. Но возвращался уже другой человек, забывший смертельную усталость, человек сильный. Он больше не напоминал человека-вопроса, согбенного и преследуемого шумной толпой сомнений.

Ваня освободился от всех лишних и мешающих звуков, он стал частью безмолвия, крохотной частичкой, но уже это приобщение позволило ему острее воспринимать любое движение мира. Любые замыслы, самые скрытые, вызывают импульс, и там где шумная толпа жизни пройдёт мимо и не услышит ничего, безмолвие обернётся, приметит и предупредительно, потечески покачает головой.

Тайны возникают и сохраняются при многоголосии, когда одна правда старается перекричать другую. Истина немногословна, зачастую ей достаточно одного слова. Таким возвратился в палатку Ваня. Он выкричался до хрипоты и неожиданно осознал: признаки жизни не махание руками и всполошенные крики, признаки жизни человека – любовь. Не приземлённая, растасканная святыми мощами в каждое сердце, а великая сила. Одна на всех. Одна над всеми. И как он был готов когда-то защищать своего новорождённого сына от всех бед и посягательств, так и завтра, когда настанет новый день, он встанет на защиту любви. Одной на всех. Одной над всеми.

А как он – такой маленький и слабый – будет защищать то, что сотворило необъятный космос со всеми его галактиками и чёрными дырами, и поместило небольшую планету у самой гостеприимной звезды? Так озябшего путника усаживают поближе к очагу и смотрят, чтобы одежда на нём не подпалилась. И потом предлагают воду из чистейшего источника и пищу. И вот когда путник разомлел, ему хорошо и дремотно ему дарят сновидения и обещают: сниться будет то, что сам пожелаешь. И в том сновидении он – Ваня – мгновение секунды. И этому мгновению спасти любовь?! Какие силы нужны, какое мужество.

Мужество. Сколько написано о нём. Воспето. Но всё как-то искусственно, патетично, переслащено. Так звучит гимн, торжественно, вдохновенно, хвастливо и фальшиво. Мужчина несущий в себе начало жизни ни с того ни с чего, обуреваемый гневом, ослеплённый и оглушённый собственными страстями начинает крушить всё вокруг. Превращать в безводную, бездушную пустыню. Песок и останки. Представляя себя героем и защитником жизни, он извлекает меч из ножен и вонзает его в живую плоть. Обезумев вконец под палящим солнцем славы, он подставляет ладони под истекающую кровью рану и пьёт, пьёт, пьёт и хочет напоить умирающего. Странно, но ему рукоплещут. Вдохновлённый он сеет прямо в песок и посреди мёртвых барханов появляется оазис. Ему снова рукоплещут. И в том оазисе рождается его дитя. Он пытается спасти своего потомка от зноя, нагибает веер пальмы и тут силы оставляют его тело. Он беспомощный старик. Мстительный ветер, прямо на его глазах заносит песком маленькое тельце не успевшее окрепнуть. О мужчины, трижды проклято ваше мужество – вам рукоплескала смерть, и она соблазняла вас миражами пустыни. Не верьте рукоплесканиям – они звуки и не властны над временем.

Мужество...

Сегодня какая-то особенная ночь. Потрёпанная палатка набитая вооружёнными уставшими людьми, удерживаемая одними растяжками – шаткий обманчивый уют посреди заснеженной степи. Из-за чернеющей посреди снегов рощи тяжело наползают лилово-серые тучи, и там уже шумит, нарастая, ветер и раскачивает деревья. Ничто не обещает покоя, мятежность в природе и в сердце. И у самой кромки надвигающейся бури – Ваня, старлей похожий на спеленатое дитя. В глазах не обречение и смертельная тоска (дитю не ведомы эти сёстры страха), он смотрит так, будто видит впервые, удивлённо и радостно, он смотрит как царь, за спиной которого непобедимое могучее войско – уверенно и милостиво. И хотя войска никакого не видно и оно воображается, от этого взгляд Вани не меняется и в этом его мужество. Завтра он в одиночку выйдет против всех сил зла и не будет ненависти, выйдет и спокойно и заявит: вот он я!

И будет сломлен, и будет стонать терзаемая плоть, и будет вырван с корнем и брошен на землю, и будет презираем и растоптан, оплёван и оскорблён. Но и гвардия зла, хваленная и беспощадная, не сможет сломить Ванينو: *вот он Я.*

\* \* \*

Утром начальник штаба спокойно принял из рук Вани две тетради.

– Тут вложен адрес. У меня просьба, чтобы ни случилось передать по этому адресу.

– Ты чего умирать собрался?

– Нет – жить. Прошу вас исполнить. А вот это рапорт.

– Ты меня знаешь.

Майор сначала пробежал глазами по тетраднему листку, как делал обычно, отмечая правильность составления документа. «Документ, даже написанный от руки, в окопе – это документ». Потом его что-то очень смутило. Он даже побагровел от макушки головы до серого подворотничка. Оттянул пальцами воротник и без того расстегнутый. Часто заморгал и так, моргая, взглянул на Ваню:

– Ты это чего, старлей, спятил? Ты что вчера пил? Ты это чего? Совсем что ли! Пошёл вон, идиот! Свалился же на мою голову.

Майор выругался и начал рвать бумагу на мелкие кусочки.

– У меня ещё имеется. И рапорт будет подан командиру полка, командиру дивизии, да хоть Верховному Главнокомандующему. И текст рапорта не изменится.

Голос Вани звучал спокойно, будто он не расслышал оскорблений.

– Тебе что жить надоело? Устал?

– Жить хочу.

– Тогда богом прошу... пошёл вон!

Через час комполка собрал всех офицеров в штабной палатке и доложил боевой приказ.

– Всем всё ясно, товарищи офицеры?

На левом фланге над головами поднялась рука.

– Спрашивайте.

– Я отказываюсь выполнять приказ.

В штабной палатке сначала воцарилась мёртвая тишина. Немая картина: что конец света, а мы не ждали. Потом все разом зашевелились и обернулись на голос.

– Товарищ..., – толстые губы комполка стали похожи на двух слизней, не поделивших одно место, – товарищ старший лейтенант повторите, что вы сейчас сказали.

– Я отказываюсь выполнять приказ, товарищ подполковник. Приказ, который заставляет меня убивать людей. Я отказываюсь убивать.

– Всё?

– Всё.

– А теперь пошёл молокосос и выполнил поставленную задачу. Ясно!

– Я отказываюсь убивать людей.

– Ты что же под трибунал захотел?

– Вам решать.

Подполковник красными воспалёнными белками глаз обвёл притихших офицеров и остановился на взбунтовавшемся старлее.

– Ну и дурак. Майор, в его взводе сержант толковый?

– Вроде да.

– Мне не вроде ваше нужно! – командир полка неожиданно вскипел, – а – да или – нет. Этого... под арест!

Офицеры расходились молча – о таком ещё не слышали. Чем закончится?

Скрыть происшествие на уровне полка не удалось. Боевую задачу в тот день многие исполняли неохотно: я тут, а этот старлей там на нарах парится. Меня сейчас могут убить, а он будет жить? Полк из боевой единицы превратился в распутную бабу: хочу – выполняю, а захочу и, подумаю трижды...

На следующий день в расположении полка было беспокойно. У штабной палатки в дубовом распадке застыли несколько дивизионных и корпусных «джипов». В них «кимарили» водители, вызывая зависть у «фронтовиков» своим наглаженным франтоватым, нездешним видом. «Большие звёзды» скрылись за брезентовым пологом. Под конвоем привели Ваню.

О чём там говорили, держалось в секрете. Стоявший у входа часовой отвечал неохотно: – Орали, много и матом.

Через час из палатки вышли все кроме Вани и начальника караула. Долго курили, забрасывая землю окурками, много приглушённо говорили, напоминая заговорщиков. Говорили в основном большие звёзды, звёзды поменьше подобострастно прислушивались и старались лишний раз не сверкать.

Взвод боевой разведки в тот день вернулся ни с чем. Командир взвода вдруг запаниковал и решил, что его подразделению угрожает скрытая опасность, боясь засады, он приказал развернуться.

Прибывшие из штаба дивизии офицеры, выслушав доклад лихого командира взвода, многозначительно переглянулись.

– Вот вам пожалуйста.

– И этот молодчик ещё смеет рассуждать о героизме и мужестве. Я думаю тут всё ясно, товарищ полковник.

– Не вам решать, товарищ майор. Вы завтра приговор вынесите, сядете в «уазик» и в тыл.

– Ну, знаете.

– Не знаю – продвигу.

На следующий день состоялся трибунал. Палатка была забита до отказа, офицеры приглушённо говорили. От чего воздух в палатке беспрестанно бубнил, откашливался и напоминал сломанный трансформатор, полный неясных блуждающих энергий. Когда ввели Ваню, все замолчали.

Ваня шёл своей обычной пружинистой походкой и был невероятно спокоен. Можно было подумать, он совершает променады по весеннему парку. Иногда замечал знакомое лицо и тогда озарялся застенчивой улыбкой, кивал головой. Кому он кивал, замешкавшись, опускал голову. Другие смотрели презрительно: ишь ты вышагивает, улыбается, давай, давай улыбайся недолго осталось! Встречались безразличные глаза и те, что смотрели с интересом. Первых было намного больше. Если бы люди придумали некий прибор настроений, то стрелка его, поколебавшись мгновение, чётко указала бы: «да кончайте вы эту подлюку, чего с ним церемониться, и так всё ясно».

Ваню презирали.

– Вы знали, что отказ исполнять приказ командира в военное время, будет истолкован как предательство Родины! И приговор один – расстрел.

– Да.

– Вы клялись защищать Родину. Вы хотите стать клятвоотступником?

– Я клялся защищать. Убивать я не клялся. Не думаю, что убивать людей так необходимо для моей родины.

– Они не люди – они враги! Они посягают на свободу нашего с вами отечества.

– Свобода в отечестве?.. – Ваня старлей взглянул прямо в глаза полковнику. – А что такое свобода?

– Здесь трибунал, товарищ старший лейтенант, а не место для дискуссий. И не с добрыми мыслями пришли на нашу землю те, в кого вы отказываетесь стрелять. Они пришли с оружием и цели их ясны и дела на поверхности.

– И всё-таки они люди. Их так же родила мать, как и вас. Поверьте, их помыслы ничем не отличаются от наших с вами.

– Вы что сектант?

– Для меня этот мир един. И я никого и ничего не делю и не отделяю друг от друга. Думаю, глупо объявлять меня сектантом.

– Но если все по вашему примеру откажутся воевать за Родину её захватят враги.

– От этого на земле ничего не изменится. Только кровь взболтается...

– Да он ненормальный!

– К стенке его и точка!

– Так, прошу успокоиться в зале!

Полковник явно нервничал, в его портфеле среди прочих бумаг и рапортов лежал фотоснимок, на нём миловидная женщина обнимала их сына. Вчера вечером он докладывал об инциденте в 96-м полку. Пытался представить его так, чтобы там наверху поняли: у старшего лейтенанта нервный срыв.

– Натура у него поэтическая, ранимая.

– Полковник, Виктор Фёдорович, мы с вами не на консилиуме – на войне. А на войне, как известно, свои законы. Сегодня один, не раненный, невредимый и внешне здоровый офицер переведён в тыл. А завтра за ним дивизиями выстраиваться начнут и объявлять себя ранимыми поэтами. С кем приказы выполнять будем? Я слышал в полку шатание?

– М-м.

– Вот видите, затрудняетесь ответить. Мы с вами офицеры, командиры и за нами Родина, Виктор Фёдорович, мы должны защищать её не задумываясь о морали и человеколюбии. А ля гер, ком а ля гер, – в трубке хмыкнули, – так, кажется, по-французски.

– Так-то оно так, но...

– Не забывайте: вся ответственность ляжет на вас – вы уполномочены, так сказать. Или вы тоже отказываетесь исполнять приказы на войне?..

– Никак нет!

– Вот мы и договорились, Виктор Фёдорович. Кончайте там побыстрее и в штаб.

Полковник ещё раз хмуро оглядел неровные ряды сидящих офицеров и остановился на затылке стоящего перед ним шуплого старшего лейтенанта. Он не знал, как ему относится к этому бунтарю. В душе он хотел послать его ко всем чертям. Обозвать подонком, объявить сумасшедшим. Всыпать ему для остротки и направить куда следует: пускай доктора расхлёбывают, псих он или симулянт, каких свет не видывал. Им же нужно свой хлеб оправдывать.

Старший лейтенант стоял спокойно, будто всё происходящее его не касалось. Во взгляде ни тени волнения, взгляд ребёнка: что ж вы со мной делаете. Многих это раздражало. Полковник не преминул заметить это, дай им волю – измордуют. Что же я предоставлю вам право решать, – злорадно подумал полковник, – с меня хватит – расхлёбывайте сами.

Полковник сам лично без свидетелей допрашивал «бунтаря». Какой же он сумасшедший – нормально соображающий, адекватный человек. Беззлобный, открытый, такой не станет таиться в тёмной подворотне, дрожа от предвкушения и переполняющих его страстей. Смотрит прямо, отвечает чётко, как человек с выстраданным мировоззрением. Я бы пошёл с таким в разведку, кроме одного но: «Я не буду исполнять приказ убивать людей. И тем более не буду приказывать другим». И это «но» в условиях войны... А будь она трижды проклята эта война! И что я делаю здесь и все эти люди... Так, стоп, Виктор Фёдорович, это точно какой-то массовый психоз. Выходит там «наверху» правы с этим своим «алягером». Шутники, мать их так! Ну чего тут сложного?! Вчера ты, не задумываясь особенно, подписывал сотни подобных дел.

Сотни и одно. Это.

Те сотни – там всё понятно: где трусость, где подлость, где расчётливый хитрый враг, где низость и ничтожество. Те сотни обыкновенные: живём, как можем..., – полковник подумал и добавил, – смогли бы и вас пережили бы. Легко. Раз плюнуть. Я им плюну, так разотру их мерзкие мирки, одно мокрое место останется. Полковник не испытывал угрызений совести, он исполнял приказы и действовал в соответствии с должностными обязанностями, инструкци-

ями и, если хотите, долгом. Слово патриотизм и звучание «славянки» вызывали в душе Виктора Федоровича живой трепет. И было ещё что-то, что давало ему право уверенно подписывать дела и приказы – положение. Этаким страусиный закон взлелеянный самой системой: я выше и значит я прав, заклюю или признай моё законное право.

С этим художочным старшим лейтенантом всё наоборот, всё шиворот-навыворот. Из его уст «Я отказываюсь убивать» звучит не как обыкновенная звуковая волна – физика на уровне средней школы. Так говорят сильные мира сего, люди, обладающие реальной властью. Они не сомневаются: каждое их слово – закон, обязывающий к исполнению теми, кто стоит ниже по иерархии. Если хотите, основной закон в живой природе: доказал свою силу – правь, пожалуйста, кто же спорит. У людей, правда, чуть посложнее.

– Я убью. Вы убьёте. Нас убьют... И что воцарится мир в душах людей? В душах убийц.

Такие, как этот старлей, каким-то образом перешагнули через страх смерти и забвения. Вот кто он? – этакая букашка, какой-то старший лейтенант – и объявляет: тот закон, который во мне, закон любви – незыблем, и он высший! С первого взгляда его легко съесть, да просто унижить, растоптать, чтобы другим неповадно было. В животном мире всё так и было бы, чётко и понятно – биология. У людей отчего-то сложнее. Выходит есть он – высший закон для человека. Тот, что включает в себя и биологию, и зоологию и другие логики, и людям, создающим и выстраивающим все эти логики, классификации, становится вдруг неуютно, когда им напоминают о нём, будто за делами кажущимися им столь важными, необходимыми они забыли о самом важном. Жизнеутверждающем. Так на вопрос: скажите, что в этой комнате необходимо для жизни? – люди начнут перечислять: окна, отопительные батареи, водопроводные краны, посуду, шкафы, вспомнят о паспорте и деньгах и не скажут главного: жизнь. Жизнь человека. Именно она оживляет комнату и каждую вещь в ней, но никогда наоборот. Ему – человеку – даны разум и творчество. В отличие от зверя он создание вдохновлённое. И то, что прощается зверю, с него спросится. Трижды спросится. Вот почему когда людям напоминают об этом высшем законе, подарившем им вдохновение, им становится неуютно и даже стыдно. Вдохновение подобно свече – оно дано светить, а не прятать его за пазуху: и тепло, и жжётся, и неугасимое чувство вины – украл. У себя же и украл.

Полковник, проводивший допрос старшего лейтенанта, считал себя человеком образованным и мог вести беседы на многие темы и в сферах совсем не относящимся к его профессиональной деятельности. Достаточно сказать, он любил читать и у себя дома имел обширную библиотеку. Толстого и Чехова предпочитал фантастике и «современной шелухе».

– Против кого весь этот бессмысленный бунт? Что вы хотите им доказать?

– Я и не собирался никому ничего доказывать. Напрасно. Если я сейчас заявлю, что выбранная мною дорога вывела меня на вершину холма, с которого открывается невиданная досель панорама. Чудная, восхитительная! Заманчивая как никогда! И я приглашу вас подняться вместе со мной. Вы поверите мне? Мне униженному, над кем сегодня не смеётся только полковой пёс, и то, потому что не умеет.

– Да, звучит неубедительно.

– А ведь я, товарищ полковник, поднялся. Поднялся на тот холм. Скажу вам, тут неуютно. Безумно одиноко и ко всему досаждают мухи.

– Мухи? Совсем не поэтично. Чего же они слетелись на этот ваш «чудный» холм?

– На запах падали – система в вашем лице уже давно приговорила меня. Всё остальное формальности. В духе гуманизма: не забросать сразу камнями или дубиной по башке, без лишних слов (дикому человеку ещё неизвестна высокая литература), а заклевать по приговору суда. Падальщики в мантиях. Гуманитарии с дубинкой.

– Без падальщиков-то знаете, как смердело бы. Надеюсь, вы не причисляете себя к святым?

Старлей потупился.

– Можно попить, в горле пересохло. – Ваня пил жадно, проливая воду на мятую форму. – Быть святым, такого мужества не имею. Жил-то я обыкновенно и прозрел несколько запоздало, когда родился.

– Родился?.. Кто?.. Вы?

Ваня улыбнулся. Полковник поморщился: улыбнулся бы он кисло, как-нибудь, криво, зло, наконец, сам бы шлёпнул наглеца. А тут, словно выносишь приговор ребёнку.

– Что вас так рассмешило, товарищ старший лейтенант. Я кажусь вам глупым и, соответственно, мои вопросы?

– Что вы. Я вспомнил о сыне – он родился.

– Что-то я не улавливаю логики в вашем бунте. Отказываясь защищать отечество, вы предаёте вашего сына. Его будущее. Получается, что и после рождения сына вы не прозрели. Слепли и поглупели – это точно. Теперь, к тому же, решили легко отделаться – сын-то вас не дожждётся.

– В слове «патрио» я никогда не слышал будущее, но всегда древнее, ветхое прошлое. А с холма, на который я взошёл, открывается чудный мир, миры, а главное – я поверил в них. Я поверил, что на Земле можно жить по любви. И решил жить по любви. Скажите, как я могу убивать, или приказывать кому-либо убивать, кто они наши враги, когда и они видят в нас врагов? Я решил каждый свой шаг, мысль сверять с любовью...

– С вашего холма открывается ваша лживость. Несостоятельность. С вашего холма я вижу свеженасыпанный холмик и похоронку домой, в которой, опять же, проявляя сострадание к чувствам родных, будет написано о героической гибели старшего лейтенанта такого-то. Подумайте, если не о себе, то хотя бы о детях.

– Зря. Я взошел на свой холм и с него не сойду. А вам ещё подниматься. Если вы, конечно, решитесь.

Виктор Фёдорович откинулся на спинку стула и глубоко втянул сигаретный дым. Пожевал его и выдохнул в потолок:

– Любой бунт, любая революция имеет только тогда смысл для вдохновителя, когда у него есть сторонники, единомышленники и тогда осознание собственной гибели ради начатого дела воспринимается им спокойней – дело будет продолжено. Мстительность, если угодно, одна из движущих сил общественного прогресса. Вы же погибнете ради какого-то непонятого каприза, и сторонников у вас не найдётся – идеи нет.

– Отказ убивать человека – каприз? А война – дело достойное мужчин. Кто знает: не убив завтра кого-то, возможно, я дарю жизнь будущему отцу, чей сын будет самым человеколюбивым из всех рождённых донныне. И кто знает, сколько добрых душ перемололи войны в своих жерновах, превращая будущую жизнь в прах. Все войны и самые справедливые, в том числе, никогда не служили добру – они озлобляют, приучают к виду крови. Сколько кротких потеряли мы и сколько злобных выпестовали на войне. Если мне быть расстрелянным – то не зря. Тело, – старлей приложил ладони к груди, – как его не сохраняй – тлен. Дух бессмертен, и пути его ни вам, ни мне неведомы.

– В последний раз обращаюсь к твоей доброй воле, старлей, – Виктор Фёдорович наклонился вперёд, – отступись. Ради сына отступись.

– Я живу верой. Вы приказом. Вам и решать.

Полковник вызвал начальника караула:

– Уведите его.

С утра прояснилось. Земля расквасилась и многочисленные лужи засверкали в лучах солнца. Причуды природы – ранняя весна. Всё живое намохло и приготовилось и дальше бороться с зимней стужей. И вдруг повеяло теплом, природа сразу растаяла, заулыбалась, зачирикала.

Полковник явно тянул и приехавшие с ним начинали раздражаться: к чему этот спектакль, спим как собаки, прижавшись друг к другу в тесной палатке, делов-то на час.

Какие только споры не вызвал в полку поступок старлея за последние три дня. Мнения бурлили и сталкивались, находили сочувствующих и спорили до хрипоты. Ваню осуждали, откровенно презирали. Старшина, ответственный за питание на «губе» был честнее остальных. Он сам лично вызвался носить судки для арестованного старлея. Когда он протягивал чашку, то плевал в неё и с вызовом произносил:

– Приятного аппетита, змеёныш!

На что получал неизменный ответ:

– Спасибо.

– Гадёныш. Решил отсидеться, когда другие офицеры честно выполняют свой долг перед Родиной. Зачморю.

Старшина упивался неожиданно свалившейся властью над старшим по званию и проявлял излишнюю услужливость:

– Разрешите мне присмотреть за арестованным, товарищ майор. От меня, уж поверьте, не убежит.

Начальник штаба был рад инициативе снимающей с него груз организации караула и похвалил: «Побольше бы нам таких добросовестных служаек».

Офицеры, «расписывая очередную партейку» непременно вспомнят странную выходку старлея:

– Да он всегда был с пулей в голове. Ходит сам себе на уме. Ты его хотя бы раз видел за «вистом»?

– Да кого там, в «дурака» режемся, зовём: «Ваня давай с нами». Улыбнётся, знаете так, будто имбицил: «Не играю, только день убивать».

– Нет, он точно ненормальный какой-то, – включился в разговор капитан Евсеев, командир ремроты, балагур и выпивоха, – зовём его в компанию, наш связист спиртом расщедрился, значит. Так он это, половину отпил, спасибо, мол, вам и на выход. Будто в душу плюнул, честное слово. – Евсеев обиженно махнул рукой. – Я бы с таким в разведку не пошёл.

– Я бы тоже.

Тут на койке зашевелился грузный зампотех, повернулся ко всем, сел, свесив ноги вниз и посмотрел на Евсеева прищуренными глазами, чем-то напоминая старого калмыка:

– Приговорили, значит. Молодцы. И я приговорил: не пьёт – гад, не играет – сволочь. Мы всем готовы в морду дать тому, кто на нас не похож.

– А что! Ну давай спуску таким давать, кто Родину защищать будет? – Вспылил комбат Буквецкий, прозванный за свой выдающийся нос «буратино». – Кто! Русь тем и живёт, что один другому плечо подставит. А на твоего Ваню никакой надёжи.

– Во-первых, он не мой, Кузьмич. Во-вторых, – на Руси не только умеют плечо подставлять, но и подножки наловчились. И что получается лучше ещё надо разобраться.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Что хочу, то уже и сказал. Кто знает, почему мы здесь с тобой сейчас вшей кормим. Кто-то подрался поважнее нас с тобой там наверху, потому что мордами видите ли не сошлись. Самим не с руки драться: не царское это дело, – так нас мордами схлестнули. А мы болваны и рады.

– Что-то я тебя не пойму.

– Потому и кормишь вместе со мной вшей. А будь побольше таких как Ваня, глядь и сидели бы сейчас по мирному в хатах. И родина цела и харя не расквашена.

– Ты знаешь скучно сидеть возле юбки всегда.

– Скучно, так иди, бейся головой об дерево. Что же ты других тащишь и заставляешь вместо тебя лоб кровавить. А сам потешаешься при этом: потеха.

Офицеры заспорили. Всех примирил шуплый радист. Он деловито разлил по стаканам прозрачную жидкость:

– Ну чего сцепились – всё давным-давно решено: расстреляют его. Баста ему – пошёл против системы.

И связист с силой хлопнул себя по груди, будто система пряталась у него за рёбрами.

– Это верно.

Офицеры стали шумно расходиться. Назавтра всех обязали быть в штабной палатке. Трибунал решено было сделать публичным.

Ваня был бледен и необычайно худ – три дня вынужденного поста сказывались. Иногда ему удавалось попить воду из фляжки сердобольного часового. Странно, и это отметили все без исключения – эта худоба и бледность добавили решимости во взгляде, так вспыхивает иногда последняя искра в потухающем костре: и всё-таки я пылал и пеплом своим до сих пор дарю тепло. Пользуйтесь.

Полковник кратко напомнил суть дела и тут же предложил:

– Прошу решение по данному делу вынести на всеобщее голосование. Так сказать суд товарищей. Кто за расстрел прошу голосовать.

Руки дружно, как по команде вытянулись над головами.

– Так. – Полковник произнёс это слово с некоторым разочарованием. – Кто против... Никого? Воздержавшиеся есть.

Одна рука неуверенно повисла в воздухе, она словно искала опору себе, находила, но очень шаткую и вот-вот готова была сорваться вниз. Полковник, несколько ошарашенный, вытянул в направлении руки свой палец и тоном, в котором слышалось «надо же – имеются?» удручённо подытожил:

– Всего один. Запишите в протокол.

Полковник развёл руками, являя присутствующим белые холёные ладони.

– Приговор трибунала – расстрел. – Полковник помолчал, вытирая платком шею. – Приговор привести в исполнение завтра утром.

Стало тихо. Глаза офицеров устремились к приговорённому: и что ты скажешь на это, доигрался! Так будет с каждым, кто пойдёт против системы.

Старлей не шелохнулся. Его глаза обводили присутствующих в палатке и смущали – в них читалось ободрение и прощение. Тем, кто сидел ближе, показалось, что он облегчённо вздохнул, один майор потом настойчиво утверждал, что слышал собственными ушами:

– Да у меня слух отменный. Ей, слышал, он прошептал: «Ну, вот и все, и слава Богу».

– Сомневаюсь в его спокойствии. Он был в шоке вот дыхание у него и спёрло.

– Бывает, зачастую приговорённые будто теряют связь с происходящим. Отстраняются, что ли...

Мнения, как всегда, разделились.

Непонятное спокойствие перед лицом смерти, смущало всех, словно речь шла о съёмке кинофильма, и старлею предстояло сыграть завтра героическую роль полную достоинства: «Дубль первый... так стоп! Ваня вы личность необыкновенная, почти легендарная для всех столпившихся у эшафота, можете эффектно откинуть чёлку со лба и загадочно взглянуть вдаль. Вот-вот, уже лучше. Палачи приготовились! Дубль второй... Мотор! Поехали!»

Стоп! Остановитесь – это не фильм и люди вокруг не массовка, а живая трепетная плоть. Души измождённые. Люди остановитесь, что вы творите! Задумайтесь: все трибуналы надуманы и притянуты за уши, все приговоры это следствие длинной цепочки чьих-то правд, недоумков, страха. Осуждённые и судьи, яблоко было сладким, но питало нас злом и справедливое возмездие обернулось обыкновенным подлым убийством. Высокие слова и губы их произносящие бубнят что-то в оправдание. И палачи, разве они не похожи на убийц, они омерзительны!

Весна и не думала уступать зиме. Следующее утро, невзирая на все утверждения календ, было тёплым и солнечным. Медленно и величаво всходило солнце, золотя верхушки деревьев и выкрашивая ровную линейку палаток в празднично розовый цвет. Утро начиналось как всегда буднично. Просипела побудку медная труба, откинулись брезентовые пологи. Лагерь зашевелился, потягиваясь и зевая, чтобы в следующую минуту бездумно замаршировать, исполняя приказы. Но вначале был завтрак, священнейшее время, не нарушаемое никогда. Воздух оглашают резкие команды.

\* \* \*

Зачем они все выстроились напротив меня? Они все желают причинить мне боль? Им так важно растерзать меня, превратить человека в обыкновенный остывающий кусок мяса? Что же вы творите!

Что мы такое, отче?!.

Будет больно? Обязательно будет больно. Очень больно! И это не боль у врача: потерпел и снова вышел из больничного коридора, под солнце... Эта боль навсегда?

Помоги... помоги... Помоги выстоять тут!!!

Зачем они стоят, все одинаковые; и я один! Стою у края бездонной пропасти, в которую и заглядывать-то страшно, а стоять... – Ваня мельком оглянулся и вместо пропасти увидел свежевыврытую яму. – Ничего страшного. Чуть подмороженная земля. Глина, перегной. Я такую перекапывал не раз, в огороде. Солнце пригреет и снова вырастит трава.

Вырастит трава. Вырастит трава! Вот зачем я стою тут у края – чтобы росла трава. Густая, и по ней чтобы детские ножки. Я стою, чтобы эти траву не затоптали сапогами...

Остановитесь люди и... и я прощаю вам...

\* \* \*

– Целься... Пли!..

...Цветные облака подхватили Ванюшу, заботливо укутали со всех сторон. Подняли высоко-высоко над Землёй, задержались где-то в стратосфере, купаясь в лучах солнца. Ванюша узнавал и не узнавал родную планету. Вот промелькнули материки, океаны укрытые белой периной. Затем очертания берегов стали размываться и смешиваться с кучерявой пеленой. Ванюше это напомнило то, как медленно смешиваются в стакане густые сливки с какао. Ближайший космос вместе со звёздами вдруг начал растекаться, и он был подхвачен образовавшимся круговоротом, сначала очень медленно, а потом всё быстрее и быстрее втягиваясь в воображаемый стакан, образуя чёрные извивающиеся разводы на молочно-коричневой пенке, в которую превратилась земля. Сверху блёстками кружили звёзды, исчезая в пёстрой пене. Зрелище было столь необычным, что Ванюша не удержался и радостно захлопал в ладоши. Так же он хлопал ловкому фокуснику в цирке.

Стакан опрокинулся и разлился.

И тут же всё за клубилось вокруг, и необыкновенная картинка исчезла за радужной переливающейся пеленой. Ванюша, радуясь чему-то, зачерпнул облака горстью и растопырил пальцы, розовые, лазоревые, салатные струйки потекли вниз... или вверх. И он снова рассмеялся необычным ощущениям, так он смеялся в детстве, когда мать застилала свежее бельё. Он зарывался с головой в простынь и пододеяльник, кувыркался и смеялся над шутивным маминым причитанием: «Вот я тебе покажу проказник этакий». «Мама так чисто, так хорошо...»

Цветные облака уносили радостного Ванюшу далеко-далеко. А может и не уносили, но мир вокруг менялся с необыкновенной быстротой, похожей на быстро сменяющиеся кадры.

Россыпи звёзд образующие галактики и скопления превратились в цветы на прозрачных полянках. Полянки кружили медленные хороводы, сплетались в узоры и снова разбегались в стороны. На полянках играли дети. Они свободно перебежали от одного цветка к другому,

взявшись за руки, дружно перепрыгивали с одной полянки на соседнюю, и там образовывали новые вселенные. Ванюша понаблюдал и присоединился к игре. Её правила были просты и не требовали познания и зубрёжки, и ограничивались свободой.

Вселенные строились и покоились на законах Любви. И детям это не нужно объяснять.

\* \* \*

Полк расходился молча.

Когда гремела артиллерийская канонада, и воздух раздирали автоматные выстрелы он – полк – моментально озлобился и мстительно огрызнулся. Калечили его, и он калечил в ответ. Калечил деловито, тактически правильно, как мясник, умело отделяющий жилы от костей, с флангов и во фронт.

Но вот прогремел залп и что?.. Стало легче? Старшина зло сплюнул – быстро, я бы...

Капитан Пономарёв острослов и балагур, всегда находящий нужное словцо, и даже в бою умеющий пошутить – молчал.

– Пономарь, дай сигарету. Я свои забыл..., – прикурив, – чего молчишь-то? Скажи чего-нибудь.

Капитан махнул рукой, мол, отстань и, осторожно обходя нечаянные проталины с лежащей травой, побрёл к палаткам: почему не было контрольного выстрела? Почему! А может..., а может живого... Не я, не моё отделение... – Он остановился, – надо же – цветок, обыкновенный одуванчик. И как он сохранился? Под снегом... А там... холодно? Жуть, какая жуть вокруг!

Полковник, возглавлявший расследование сухо простился с командиром полка:

– Глаза у вас... спиваетесь?

– Всё по норме – фронтовые.

– А ты чего сидишь! – презрительно отвернувшись от командира полка, набросился полковник на водителя джипа.

– Так я это, вас жду.

– Ждёт. Заводи!

## Глава вторая. Рождение

\* \* \*

Удивительный калейдоскоп, ни разу не повторивший узора из разноцветных полянок, слегка вздрогнул, незаметно провернулся, в очередной раз меняя картинку. Цветы рассыпались в дивном хаосе и снова собрались вместе, образуя лучистые куртины и пышные радужные клумбы. Звёздная пыль с лепестков ещё долго кружилась, сверкая и переливаясь, и потом, подобно тихому снегопаду, засыпала обновлённые долины и поляны. Ничто не повторяется и не повторится в этом мире.

Оранжевая звезда напоминала одинокий уличный светильник, непонятно для кого изливающий свой тёплый свет. Вокруг неё мотыльками кружились планеты, и астероиды похожие на рой мошкеры. Их притяжение было обоюдным, и никто не хотел разлетаться, любуясь друг другом и согреваясь. Вселенные, и эта не исключение, буквально пронизаны любовью. Как из нитей плетётся полотно, так всё вокруг соткано любовью. Она повсюду и оттого мы не замечаем её присутствия. Она закон и начало всему. Другие законы, проистекающие из неё, легко поддаются измерениям, тем или иным способом их можно зарегистрировать и наблюдать. Но попробуйте накинуть систему координат на неизмеримое, авоську на эту звезду. И мир любви не молчалив, он полон звуков и слов:

«... Я люблю тебя...

...И я люблю тебя...

Ах, какая музыка. Откуда это доносится? Мне туда.

...Поклянись...

А так всё чудесно начиналось. Ну, зачем вы так! Какие клятвы? Другим законам, возможно, и нужны оговорки, физические константы – материальный мир требует опоры. Любви не клянутся – она или есть в тебе или её нет.

...К чему слова – поверь...

Вот чудно сказано! Кто он этот чудака, шутивно помахавший рукой всемирному закону притяжения и всем относительностям сразу.

...Мы со всей ответственностью заявляем, нами открыты новые всеобщие законы мироздания и вскоре мы используем их в своих интересах...

Самоуверенное зазнайство. Вот этому неизвестному чудаку не нужно познавать – ему достаточно жить по закону любви.

«... Ах, эта твоя вера, в ней нет ничего определённого... Витаешь где-то в облаках». «Но я люблю тебя...» «В ЗАГСе в этом больше разбираются».

В ЗАГСе? Кто он этот всеильный ЗАГС, перед которым любовь должна отчитываться и регистрироваться, и ему – ЗАГСу – верят больше чем жизни. Откуда доносятся голоса? Надо же обыкновенная планета, каких тысячи и тысячи. Хотя, нет – она прекрасна. Любовь именно её положило на солнечную ладонь. Смотрите, как играют лучи, отражаясь от поверхности вод, как беззаботно кучерявятся облака и радуга...

...У нас будет ребёнок... Дай я поцелую тебя... Я люблю тебя.

Нет, какая всё-таки изумительная планета, она просто купается в лучах любви. И люди, так они, кажется, называют себя, заслуживают внимания. Кто говорит и внимает любви – тот вдохновлён и бессмертен.

Ткачу, сплетающему полотно жизни, понравился один узор, он приблизился к нему, дыхание коснулось сплетённых нитей и те ожили и заиграли всевозможными оттенками. Ткач обрадовался открытию и доверил ожившему узору вплетать собственные нити. Только преду-

предил: не переусердствуй – тебе видна одна нить (та, что перед глазами), а мне представляется вся картина и замысел её.

Вдохновлённый подмастерье увлёкся и возомнил себя всесильным гением, способным ткать полотно мира. Забывая обо всём, он словно одержимый орудовал челноком и тянул нитью и когда ему пытались подсказать, помочь, он отмахивался: я теперь и сам великий мастер!

– Ты прозрел?

– Погляди, какая оптика у меня! И новый усовершенствованный челнок!

– Так ты прозрел?

– Еще немного и я овладею тайной атома и больше того! Видишь, какие инструменты у меня сегодня!

– Так ты прозрел?

– Что ты заладил одно и то же. Ключ на старт! Скоро я познаю все законы мироздания!

– Ты прозрел?

– «Наш корреспондент сообщает из Церна: «Сегодня запущен самый большой в мире коллайдер...»» «Новости дня: «Ракетноситель «Протон» вывел на орбиту...»»

– Ты прозрел?

– Нечего меня поучать – взрослый уже: и паспорт в кармане, и докторская. Меня уважают и ценят. Мои труды признаны во всём мире – они фундаментальны. А ты всё: «прозрел, да прозрел».

– Ты слеп. Ты безнадежно слеп...

– Нет, я вижу! Мои спектрометры и телескопы заглядывают в самые отдалённые миры, – голос понизился и доверительным шёпотом поведал, – ты знаешь о тёмной материи?.. То-то же! Она вокруг! И скоро, очень скоро я зачерпну её горстью. Вот этими самыми ладонями. Гляди!

– Когда-то, совсем недавно, за пределами памяти, ты совсем не задумывался об этом – и самые «тёмные материи» были прозрачны для тебя как родниковая вода. Ты пил и утолял жажду. Теперь напоминаешь пустыню: песка много, а жизнь – редкий дар, чуть ослабеют корни, и суховей понесёт по барханам. Ты помнишь своё детство?

– Кто же его помнит.

– Зачем же бахвалятся всесильностью, когда и собственная память напоминает обрубок, вытесанный из глыбы, и собственное Я помрачнее самой тёмной материи. Детство подобно сказке, несбыточной мечте, что кажется достижимой, но каждый раз слышишь: а ведь было?.. Ты страшишься заглянуть в неё и при этом готов строишь исполинские пирамиды, и разгоняешь частицы в коллайдере, бесконечно наблюдаешь далёкие звёзды, опьянённый новой идеей ты бросаешься в самую гущу событий, ты на острие революций и впереди поющих строителей, мокрый, голодный ты строишь города будущего, ты готов словно одержимый писать том за томом и бесконечно проникать за тайну написанного, готов на самые безрассудные и храбрые поступки, но только бы не видеть устрашающей тьмы в самом себе. Перед ней одной ты пасуешь. Как бегут прочь от беспричинного ужаса, так и ты убегаешь от самого себя. Прочь, лишь бы не видеть и не слышать. И знаешь почему? Любое внешнее свершение – шаг, физиология. Методов обмана физиологии, искушений превеликое множество. Природе ничего не стоит приготовить самой себе дурман и накачать им кровь. Обманывайся и плутай! А вот путь к человеку лежит через преодоление своего эгоистического Я, сквозь ту самую пугающую тьму, от которой шарахается расчётливый разум. Тут никакие эликсиры и дурманы не помогут. У тебя есть зрение? – естественно! Но прозрел ли ты? То, что яснее ясного для младенца, для тебя закрытая книга – любовь. Да, ты можешь раскрыть эту книгу, листать и читать, конспектировать и защищать диссертации, одно тебе будет всегда не доступно, то чем младенец просто дышит – дышит любовью. Гордыня взрослого не позволяет признать: нить жизни, которой ты пытаешься вышить собственный узор, создана не тобой, а дар. Самый щедрый дар. Детям это

понятно без слов, вот почему они расстаются с ним не ропща, легко... И обретают вновь. А ты боишься потерять, дёргаешь, сплетаешь в тугие узлы и петли... Довольно. В нагромождении слов критики увидят словоблудие, и будут правы. Они не прозрели и готовы рыться в поисках красивых словосочетаний всю свою жизнь...

\* \* \*

– Приговор приведён в исполнение...

– Дёргается, як курица безголовая.

– Сам ты курица.

– А нехай было против всех идти.

– А все куда шагали?

– Куды?

– Точно курица: куды, куды.

– И шо ты цепляешь меня. Так куды?

– Тебе завтра на этой войне башку отстрелят. Куды?

– А тебе нет?

– И мне отстрелят, вот «куды» мы с тобой шагаем. А он против пошёл. Ясно тебе! А... ты целился?

– А-то ж.

– Меня Бог помиловал.

– Вот зараза яка.

Воздух ещё будто дрожал, словно хотел навсегда сохранить память об этом залпе. Ради чего ваше ткачество, хвалёная сталь, прецизионная точность стволов, когда даже воздух задрожал от возмущения и несправедливости: кому дар творчества?! Этим?..

\* \* \*

Не настрадался?.. Живого места не оставили, и глумились, и терзали. Мало?..

Это верно, почти вся твоя жизнь обман, и вспомнить нечего и стыдно. Человеческого мало – одна биология... Для сына, сам понимаешь, в той биологии наследие небогатое...

Нет-нет, я же не нотариус и речь не о наследстве... Наследство, если уж быть до конца откровенным, – ярмо. Надевается оно с радостью, носится тяжело и вынужденно, и прирастает к плоти. Рода, говоришь? Ты видел, как пересыхают реки и потом снова начинают журчать, так вот, те же это реки или нет? Когда ответишь на этот вопрос, прежнее иссякнет...

Вернуться?.. Возможно, конечно возможно. Для меня ты не умер – ты жив. Жив ты или мёртв, не в морге определяется – это категория, скорее духовная, чем материальная. Возвращайся.

## Глава третья. Детство

\* \* \*

У кого не спроси, тут же, не раздумывая, ответят: дети, ни о чём ни думают. Их сознание в младенческом состоянии.

А вы помните своё младенчество? Сам миг рождения. То таинство перехода из небытия бессмертия в жизнь на планете Земля?

– А кто о нём помнит? Что за глупые вопросы!

Однако рассуждаете и так самоуверенно. Точно так же какая-нибудь светлая голова поставит опыт в лаборатории, потом бежит с риторикой по коридорам, тычет ею в доказательство и кричит, что он открыл очередной всемирный закон. Всемирный! В лаборатории?.. Самоуверенность достигшего половой зрелости: у младенца нет опыта, все его чувства в зачаточном состоянии. Вот оно надутое самомнение риторки, возводящее свое частное мнение (и к тому же искусственно подогнанное под определённый удобный результат) в абсолют. И представьте себе, риторке верят – видят.

Утверждаю, дети смотрят на нас глазами Бога. Не лукавьте, не сюсюкайте с ними и, тем более, не самоутверждайтесь в своём превосходстве. Любая ваша философия – осколок зеркала. Дети в него не заглядывают – им ещё нечем обольщаться. И если их можно сравнивать с зеркалом (опять же весьма осторожно и условно), то только с тем, куда заглядывает Бог.

\* \* \*

Странные ощущения. Так, наверное, ощущает себя океан, неожиданно помещённый в трёхлитровую стеклянную банку. (Что за чудовищная фантазия, – возмутится сноб в очках имеющим научное звание, который сам, при этом, убеждён, что Вселенная возникла в результате некоего сверхвзрыва, из некой сверхплотной изначальной точки... и т. д. и т. п.).

Непривычно: быть безбрежным океаном и решиться, пусть даже временно, побывать в крохотном тельце. Кстати о привычках – и к ним нужно привыкать. А это кто? Ой, какие они смешные. Склонились надо мной, агукают, улюлюкают. Забавные. Совсем недавно подобные лица, скрытые за марлевыми повязками, очень доходчиво втолковывали мне жёсткие законы выживания на этой планете: забудь то, кем ты был – тут всё жёстко и по-настоящему – с биркой на запястье, со шлепком по попе. Тут важна не сама жизнь как таковая, а её количество и качество. Сколько весит? Три с половиной. Так и запишем. Тело? Чистое... Вот и взвесили. С прибытием на Землю.

Новорождённые глаза пытаются с прежней ясностью обозреть весь мир, во всём его многообразии не разрезая его на кусочки-эпизоды, с тем чтобы сразу приступить собирать из этих эпизодов мозаику жизни (Занятие достойное мудрости?). Дитя изначально видит мир во всем его многообразной цельности. И в той цельности нет плохого и хорошего, злого и доброго, своего и чужого, жизни и смерти – его мир гармоничен. Его мир – любовь.

Ко всему нужно привыкнуть и даже к собственному телу. То руки начинают жить какой-то своей жизнью, то гравитация начинает озадачивать – никогда не падал раньше, да и прочие беспокойные процессы. И с лицами ещё нужно разобраться, тут так заведено: многие имеют по два, а то и по три лица. Одним смотрят, другим живут, третье про запас держат, так на всякий случай. Младенцу невдомёк: зачем? – куда проще жить, когда да – это да, а нет – это нет. Недомолвки, намёки, тайное при ясном свете и ослепительное сияние среди ночи, когда глаза сами смыкаются и просят покоя. Да, и самое главное – с рождением ты теряешь свободу, ты чей-то, кому-то обязан, и когда-то успел задолжать, только успевай оглядываться и приноравливаться, задумываться над каждым шагом, боясь оступиться. Когда ориентир один – любовь,

к нему и стремишься, а когда множество, начинаешь метаться в поисках верного. Тебя подталкивают, направляют, заставляют всё время идти в ногу или со всеми. Невольно подстраиваешься под шаг, равняешься, вначале неловко потом привыкаешь. Так легче. От тебя требуют одного – механичности. О любви ни слова – всё материально, все определяется на вкус, цвет и предпочтения, всё имеет свои временные и пространственные ограничения. И для любви нет исключения. Делай свои первые шаги, малыш, привыкай к гравитации. Давай привыкай.

– Агу, агушеньки.

Бессмысленно, но как-то тепло и напоминает шум океана. Я безбрежный океан любви, во мне может искупаться каждый. Плыть, покачиваясь на волнах, куда ему заблагорассудится, без страха утонуть – я бездонный, и стихии мои не ведают земных шквалов и штормов. Заходите, окунайтесь, смывайте усталость и ободряйтесь, каждый получит во мне обетование. Я приму любую вашу волю.

И каждый входит в воду по-разному. Один зябко пробует пальцами ноги, другой плюхается со всего разбега, третий, изображая какое-то животное, уверенно плывёт и пофыркивает от удовольствия. Для одних я «кровинушка», для других игрушка, нечто вроде живого плюшевого мишки. Дедушка взял меня заскоружеными руками, придвинул к кустистым бровям, покарбал взглядом, удовлетворённо замечая половую принадлежность, и передал дальше:

– Мальца берегите. Нашего рода.

Очередной дядька только дыхнул на меня крепкой жизнью, и я заплакал. Как ему ещё объяснить, затхлый воздух признак болезни, он умирает.

Были другие руки и лица, улюлюкали, сыпали словами:

– Как не любить такую кроху. Ты знаешь, я всё-таки купила то платье. Помнишь то самое, в «Парижанке». Улю-лю-лю, ты моя радость! В такой милый горошек. Мне скидку сделали, так я и туфли прикупила в тон.

Сколько слов о чём они?

Залетали мотыльки, хлопали крылышками, кружась вокруг лампочки. Их притягивал свет. Не обожгитесь! Они обжигались, отскакивали прочь, и снова начинали нервно плясать вокруг источника света. Когда лампочка гасла, они без сожаления улетали прочь.

Океан любви засыпал, едва слышно посапывая носиком, а на берегу сновали случайные зеваки и чутко берегли сон те, кому по воле судьбы выпало стоять на страже детского сна – родные.

Хлопнула дверь, сквозняк всколыхнул накидку. Океан чуть шевельнулся, приоткрыл сонные глаза и снова погрузился в бирюзовую сказочную пучину, недоступную другим людям. Сколько не ныряй, ты так и останешься праздным гулякой или родичем. И только другой океан, столь же безбрежный и родной не по крови, но по духу, сольётся с тобой, весь, до капли – что для него жизнь: безбрежность. Любовь без условностей и оговорок. Кровные узы, брось их в океан любви – утонут.

Улюлюкуают, агукают – издают звуки и ни слова о любви. Внимания хоть отбавляй – через край. Вчера тут был один чересчур внимательный, на всё через объектив смотрит: «Положите ребёночка на животик... вот так, помашите ему ручкой... агу-агу...» Так измучил меня своим стеклянным зрачком! Они относились ко мне с одинаковой безразличной теплотой: фотограф и его фотоаппарат. Лиц вокруг много, всем хочется запечатлеть и запечатлеться, каждый видит в окуляре своё. Фотограф отсчитал своё шелестящее счастье, сверкнул глазками-объективами и пропал.

Я растворяюсь в каждом, смиренно разделю с вами и боль и радость, я люблю вас, капризных и грешных, вздорных и хвастливых, умных и заносчивых – разных. Принимаете ли вы мой новорождённый мир? Вы плюхаетесь в океан любви, обязательно сохраняя при этом плавучесть.

Нет, всё-таки есть лица не похожие на остальные. Они очень редко встречаются и похожи на обитаемые тёплые планеты среди безжизненных ледяных просторов космоса. Можно сколь угодно блуждать среди звёзд и не встретишь ни одно живой. Мне повезло в первую неделю, после моего рождения – ко мне наклонилось лицо моего отца.

Обыкновенное лицо, каких тысячи. В мамином, если честно, куда больше нежности и внимания. И чего в нём такого? Взгляд. Помните, я говорил о зеркале, куда заглядывает Бог. Отец заглянул, сначала с неясной надеждой: кто там? Потом был миг – чудный миг – взгляд отца прояснился. Представьте себе сухой надломленный сучок, и вдруг на нём прямо из сморщенных высохших сухожилий набухает почка и распускается дивный цветок. Кто способен замечать подобное не может сдержать невольного вздоха, радостного восклицания. Глаза отца будто хотели сказать мне: и я могу смотреть на мир так же широко и влюблённо, как и ты, я только призабыл, засуетился, растерялся, Но ничего я обязательно вспомню, найдусь! Да-да, я уже помню!

С отцом мы стали двумя половинками одного целого, это была больше чем связь. С мамой я на всю жизнь остался связан пуповиной. Той же пуповиной, думаю, я был связан и с остальным миром. Потрогайте свой живот и сразу нащупаете пупок. С моим отцом всё иначе. Мы понимали друг друга не языком чувств и каких-то обязательств – мы растворились друг в друге, до капли, без остатка, без договорённостей вроде: значит так, я – взрослый, ты – салага и подотри нос. Мы просто черпали в другом то, что один не успел расплескать, а другой ещё хранил в себе полным до краёв.

– Держись, Дрёма, держим курс на Альдебаран!

Здорово папа превратил обыкновенную лампочку в неизвестную звезду. В таком случае, смею вас заверить: на сегодня все пространства отменяются и наши комнаты – это две соприкасающиеся Вселенные.

– Ух ты, полетели! Пристегните ремни!

Лучше обними покрепче – это надёжнее.

– Что ж в дальний путь!

Папа, для кого дальний, а для кого между Вселенными один коридор и два шага.

– Так приземляемся на Хрыку. Он мягкий.

Хрыка – это наш терпеливый плюшевый пёс – он добрый и примет любую нашу даже самую жёсткую посадку. Хрыка большой – с меня ростом, но никогда не прыгнет выше тебя, лежит себе преспокойно на полу. С папой всё намного запутаннее, он может опуститься на колени и стать почти как Хрыка, а может тут же подняться и вырасти, хоть голову задирай. Но он не задаётся.

Совершив мягкую посадку, начинаем осваивать новую планету. Тут надо и города из кубиков построить и сады посадить и всяких зверушек развести.

– Дрёма, ты давай строй ровнее. Смотри, башня скоро рухнет.

Никак не могу привыкнуть к законам земного притяжения – особенные они тут у вас. Вернее, теперь – у нас.

– Есть такое дело, Дрёма. Законы у нас жёсткие, чуть зазевался и тут же равновесие потерял, упал и шишку набил. Раньше я считал это бедой. С твоим рождением многое изменилось, ты напомнил мне давно забытую истину: и падение и подъём начинается с точки опоры. Вот почему можно падать – вставая, и, наоборот, подниматься для падения.

Однажды нас подслушал один папин знакомый:

– Ваня, ты с ребёнком разговариваешь или со сверстником?

– А я разницы не вижу. Мы с Дрёмой понимаем.

– Нуда, ты ему ещё кодексы растолкуй, логарифмы, пунктуацию...

– Кодексы, – папа наморщил лоб, – кодексы, уверен, не воспримет. Кодексы не каждый-то взрослый воспринимает. А если точнее, то каждый на свой слух. Один сверху на него взгро-

моздится, мягким местом звуки гасит, другой под ним стоит, держит на плечах и терпит все его острые углы и неровности. Кодекс не поймёт – двуличный он.

Кодекс я представил себе кособоким стулом в игре «кто первый сядет». Знаете, когда одного стула обязательно не хватает и выигрывает самый юркий. Папа был ловкий, но предпочитал уступить.

Когда приходили папины знакомые или он собирался на работу, с ним происходила разительная перемена. Папа вздыхал, гладил меня по волосам и начинал застёгивать пуговицы. Глаза становились не грустными, в них угадывалась некая досада: а это надо? Кого он мне напоминал в такие минуты? Потерянного человека. Только поймите меня правильно, не того, кто тычется в разные стороны и не знает, куда ему направиться. Нет. Он сам потеря. Бесценная. Так инвалид остро чувствует недостачу руки или ноги, он, конечно, проживёт без неё, но кто знает?.. Так вот, это отца моего потеряли на Земле. Папа застёгивался на все пуговицы, затягивал галстук и обязательно нагибался ко мне, грустно улыбаясь, произносил:

– Такая жизнь, Дрёма.

И тогда мы с ним на время терялись, остро ощущая потерю. Зато когда мы снова обретали утерянное, радости не было предела.

– Может так надо тут на Земле, Дрёма, чтобы обрести, нужно потерять? Не знаю, не знаю. С тобой я не чувствую себя ущербным. Каким стал с тех пор, как порвалась связь с детством, моим детством. Теперь я цельный как никогда. Странно, – папа задумался, разглядывая ярко-красный автомобильчик, – я играю в детские машинки, а они, там, на улице, по-взрослому рулят. Я их не давлю, Дрёма, а они так и норовят помять, искорёжить, сбить на обочину. Так, по их мнению, они утверждаются в жизни... – папа пожал плечами, – а мне их искренне жаль – калеки они. Они давно и безвозвратно утратили то, что мы с тобой обретаем каждый день. Можно иметь сколько угодно больших машин и сотни лошадей под капотом и никогда не догнать одну ма-аленькую мечту. Имя которой любовь.

Папа поставил красный автомобильчик на пол, расстегнул пуговицу и опустился на корточки:

– Ну что, поехали!

– Надо заправиться.

– Как это верно. Тогда курс на кухню.

«Детство, детство, где ты, где ты...» – На кухне был включен телевизор, мама готовила и слушала модного певца, с удовольствием подпевая. По мне так тоска, а не песня, волчья воющая тоска непонятно о чём: вою, потому что вою. Тоска, правда, заводная, так и хочется вздёрнуть нос к безмолвному небу и завывать. А ещё и сплясать. Мне подарили игрушку, человечка, чьи руки и ноги дёргают верёвочками. Дёрг, дёрг он и начинает плясать. Ритмы. Заводной певец и себя издёргал и других осчастливил. Мама, не слушай ты его – детство не плясунья, отплясало и откланялось: веселитесь дальше сами. Детство это воздух, без которого дышать не сможешь. Знаю, знаю, как всегда наставительно заметишь: и взрослые дышат. А помнишь, мы как-то раз посещали дедушку в больнице, а рядом ещё кто-то лежал и тяжело сопел в маску, возле него стоял кислородный баллон. Он дышал и жил. В последнем я сомневаюсь, дети такой баллон вряд ли утащат. Выключи ты этого мечущегося по сцене в поисках детства, он и сам не найдёт его и тебя заведёт. Вдохни вместе со мной. Мама не услышала, наклонилась и взяла меня на руки:

– Будем кушать, – и усадила за стол.

– Не красовался бы перед камерой, глядишь, и нашёл бы утерянное детство.

– Ой, у тебя, Ваня, одно детство в голове. А мальчик этот, между прочим, побольше тебя зарабатывает.

– Ты мне и девчонок простишь, которые к нему липнут?

Папа не шутил, хотя говорил улыбаясь. Мама сразу надулась:

– У тебя всё крайности.

– А посередке непременно упадёшь. Закон пропасти.

Папа, продолжая чему-то грустно улыбаться, обнял маму.

– А закон доходов семьи тебе, конечно, не известен.

Я замечал одну особенность маминого слуха: она слышала только то, что хотела услышать, всё остальное отсеивалось за ненадобностью:

– Дома есть нечего. Ребёнка нечем кормить.

– Дрёма, мы с тобой голодаем? Сейчас каши наварим с тобой и пойдём животы гладить, верно?

– Каши, каши! Кроме каш другая пища бывает.

– Бывает – неудобоваримая. Это когда этикеток и рекламы много, а еды настоящей под этикеткой, да и пользы – с гулькин нос. Одни обещания. Обещаниями сыт не будешь. А ты чем ярче упаковка и цена, тем охотней покупаешь. По мне так лучше кашу манную кушать, чем ярлык глянцевого жевать, как та корова.

– Я тебе не корова!..

Очередной скандал. Папа потом долго молчит. Споёт мне колыбельную и сам себя корит у моей постели:

– Знаешь, Дрёма, в песне, вон сколько слов – много. И певец бывает такой, душу твою на струны распускает и тренькает потом по этим струнам. А прислушаешься – гудит и пусто, будто в деке гитарной. Ты сам сначала песней стань. А... – папа укрыл меня получше, – не слушай ты меня брюзгу, спокойной ночи.

Мама плачет:

– Не понимает нас с тобой папанька, не жалеет. У других и машины и дачи, королевами живут.

Я тут же вспомнил «снежную королеву» из мультика – жуть холодная. Неужели мама не понимает, что королевы из кусочков льда слеплены. Сверкают инеем, холодят и только, самодовольная жизнь холодильника. Мама, неужели ты хочешь быть холодильником?

«Младенческое сознание, дитя неразумное», – это, в очередной раз, обо мне, и в очередной раз сказано с умным видом, поправляя очки на переносице. Что ж не буду с ним спорить (очки, наверное, не зря носят – заслужено), замечу лишь: то, что между папой и мамой вырастает пропасть, я заметил задолго до образования первой трещинки. Задолго до умудрённых жизнью бабушек и дедушек. У них опыт! Так его пережить нужно, захлабываться и обжигаться, а кто растворен в стихиях и не перечит им – живёт? Для устья исток не загадочное далёко – река.

Я загрустил. Папа пытался играть со мной, отвлекал и веселил, но мы уже тревожно прислушивались к отдалённым раскатам грома. Прислушивались и ждали, когда тучи затянут солнечное небо.

Был дождливый зимний вечер. Чёрное небо вконец запуталось в тучах и сверху, то скапывались капли, барабана по карнизу, то беззвучно летели белые хлопья снега. Тяжёлые и мокрые.

Я, прислонясь лбом к стеклу, тоже плакал – слякоть за окном проникла в нашу квартиру, за стеной на кухне ругались мои родители. Я слушал и понимал: солнце ночью зажигают такие чудаки как мой отец. Зажигают сначала в своей груди и потом вынимают его наружу и тьма, отступает. Но и чудаки устают бесконечно доставать из-за пазухи солнца – в груди всё выжжено давно. Чудакам, как и всем прочим людям, требуются лечебные снадобья и целители. Им, наверное, даже больше.

Мне заранее было известно, что я останусь с мамой, этот мир куда прозрачнее, чем он сам себе представляется в зеркале, облачаясь в пышные наряды, мантии судей, позируя.

Громко, выстрелом хлопнула дверь.

## Глава четвёртая. Отрочество

\* \* \*

Теперь мы с мамой живём в просторном доме имеющим аж три этажа и столько комнат, что о них, видимо, часто забывали в спешке жизни, и они сумрачные, запылённые и затхлые подолгу дожидались хоть какого-то присутствия живого существа. Ну, или хотя бы призрака. Зачем столько комнат?

Вначале и я задавался таким вопросом, с опаской приоткрывая очередную загадочную дверь и заглядывая внутрь. Вот человека определяют, что он жив не по наличию кожи, причёски и одежды, а по дыханию и по делам его. Прекрати человек дышать и творить все начинают плакать и человека хоронят. Такой представлялась мне жизнь.

Я рос и начинал понимать, что людям свойственно заблуждаться, они считают, что будь у них две головы, они бы лучше думали. Вот почему в доме были пустующие комнаты. И был хозяин.

– В доме должен быть хозяин, – глядя на меня стальными глазами, твёрдо и непреклонно заявлял Артём Александрович.

Артём Александрович новый мамин муж, он фотограф. Мама с надеждой ожидала, что я назову его папой. Ей хотелось, чтобы большой дом снаружи и изнутри тоже выглядел крепким, добротным и благопристойным. Я смотрел, как она прихорашивается перед зеркалом, пытался вникнуть, и отказывался понимать.

– Артём... Артём Александрович всё для тебя делает. Старается. Ну, признайся, разве мы жили так хорошо раньше?

– Раньше?

– Да.

– Раньше мы просто жили.

– Вот видишь – просто. А сейчас, у нас куда больше возможностей и куда интереснее. Верно. Артём умничка... Артём Александрович. Он к тебе как отец относится. Любит. Мало родить, нужно ещё вырастить. Вон ты персик посадил в саду. Так что легче? Посадить и забыть или каждый день поливать, обкапывать, подрезать?

– Я не дерево, мама.

– Нет, конечно... Приехал!

И мама упорхнула встречать мужа, она дорожила уютом и боялась остаться «у разбитого корыта».

– Смотри, что тебе Артём Александрович купил.

Подарок был царский. Новенький блестящий компьютер со всеми геймерскими наворотами теперь красовался в моей комнате. Он был чуден, и всех его микросхемных мощностей с лихвой хватало доказывать, что разукрашенный виртуальный мир куда красочнее настоящего.

Игры с отцом, походы и костры потихоньку стали меркнуть и забываться. Взрослые дорожат памятью, пекутся о ней, огораживают, подкрашивают, подновляют. По особым датам собираются вместе, кушают, вспоминают, вздыхают, потом разливают по рюмкам:

– Ну, чтобы помнить.

И забываются. Становятся глупыми, шатаются, будто вместе с воспоминаниями они начисто забывают, как правильно ходить. Я однажды понюхал эту взрослую память и даже попробовал на язык, гадость ужасная, горькая и жётся. Может поэтому они пьют, как сказал один знакомый Артёма Александровича дядя Артур: «Давай её окаянную, беленькую. Что б

по мозгам и забыться». Взрослые будто потеряли что-то, пытаются найти, но у них ничего не выходит, тогда они огорчаются и машут рукой: наливай.

У меня такое бывает, с игрушками. Высыплю их все на пол, ищу, ищу и никак не могу найти то, что ищу. И куда она запропастилась? Когда игрушек чересчур много, непременно одна или несколько потеряются. Обижаются они что ли, мол, совсем забывать стал, не играешь. А взрослые всё тащат и тащат игрушки, будто я божок какой. Приятно быть божком, и скучно. Вроде, всё есть, всего навалом (в прямом смысле слова), а скучно. Поиграл новинкой, день другой, и забросил в общую кучу – пресытился. Игрушкам, как и людям душа нужна живая, участие. «Игрушки без души – хлам».

Где я это слышал? Точно – папа однажды сказал, когда я сидел и скучал без него. Он тогда вошёл после работы и сразу все игрушки оживились, преобразились. «Много не надо. Одну, две, но чтобы, непременно, с душой. Чтобы с любовью». И отец всегда угадывал, дарил именно такую игрушку, которая пылью не покрывалась, он, что тайные желания может угадывать? Бабушки и дедушки дарили куда чаще и больше, притащат ярко раскрашенного монстра: на, играйся. Потаскаешь его и забросишь куда-нибудь в угол, тяжёлый и крикливый больно, сам себе на уме.

Папа ответил на вопрос:

– Когда я выбираю игрушку, я думаю о тебе, Дрёма. И сам опускаюсь на корточки и начинаю играть.

– Прямо в магазине?

Папа улыбнулся:

– Прямо в магазине.

– А продавщицы?

– А что продавщицы. Птица если однажды свила гнездо, никогда его не покинет. Детство оно в каждом живёт. Только у одних гнёзда глубоко, глубоко в дупле прячутся, а у иных на ветках качается из лёгких прутьиков свито. У всех и у солнца на виду. Такие дела, Дрёма.

Теперь у меня всего много. Вот и мечту мою исполнили: игровой компьютер. Я сразу забрался на стул и погрузился в сказочный мир, в котором я мог быть кем угодно. Меня иногда возвращали в реальность:

– Хватит играть, уже целый час сидишь.

То мама, то Артём Александрович по очереди строго заглянут в детскую. Я капризничал и быстро соглашался, папа сказал бы «... хитрить стал, а зря – у хитрости одна особенность имеется: она всегда кого-нибудь перехитрить пытается и так порой увлекается, что саму себя обманывает...» От папы ничего не скроешь, но он теперь далеко. Вот откуда моя уверенность в том, что скоро взрослые забудут обо мне в суете жизни, и я снова включу компьютер и просижу за ним до вечера. Вот как?

Папа представлялся мне теперь капитаном дальнего плавания. Вот его парусник (почему-то непременно парусник и парусов так много на высоких мачтах) отчаливает от причала, всё дальше и дальше. Вскоре одни паруса плывут над волнами, солнечные блики искрятся на воде, тучки следом скрываются за горизонтом. Я кричу, плачу, мне обидно и больно: почему ты оставил меня одного на берегу!.. Папа молчит, смотрит с кормы, грустно улыбается, как в последний раз, и молчит.

Ну и пусть! Топаю ногой и усаживаюсь за компьютером. Нет папы, будет другое! Я не узнаю сам себя, мне хочется бежать от самого себя, кем ты становишься, Дрёма? Букой. Хочу, не хочу! Вон и папа смотрит укоризненно: «*Хочу*, Дрёма, это слово проглот. Оно всё проглатывает и тебя самого не против скушать... Скушает, непременно скушает, и не поперхнётся, верь мне». Папа!

Не должны отцы покидать своих детей! Детству нужны отцы! Как слову нужен смысл. Как творчеству вдохновение. Как дыханию воздух.

Дрёма заплакал. В комнату вбежала мама.

\* \* \*

Сделаем маленькое отступление, тем более детство позволяет легко не замечать времени и его условностей.

После того как мама цепкой рукой увлекла меня за собой, прочь от папы, мы долго не виделись.

Играть ни с кем не хотелось – никому не удавалось обыкновенную лампочку превратить в звезду Альдебаран. Артём Александрович деловито вкрутит новую лампочку, вместо перегоревшей и подморгнёт: «Да будет свет!» – и тут же уходит «по делам». Его свет был необычайный транжира. Папа, не задумываясь, произносил: «... звезда? Да вот она! Хоть целое созвездие», – и звезды запросто вспыхивала прямо над головой.

Я сидел и скучал один посреди просторной комнаты, почему-то называемой детской. Мама увлечённо суетилась, вешала звёздные шторы на окно, руководила: двигала мебель, зажигала на стенах забавные светильники и всё время обращалась ко мне с вопросом:

– Ну как тебе, нравится? Скажи классно! Своя детская!

Мама будто самоутверждалась в моей новой детской комнате. Пыталась и меня разместить с тем же энтузиазмом, с которым передвигала стол к стене и раскидывала по полу игрушки. Игрушек было много, но любил я одного Хрыку и грустного зелёного зайчишку, с которым мы вместе засыпали, слушая папины колыбельные. Грусть зелёного зайца передавалась и мне. Мы грустили вместе, забившись в угол огромного кресла. Вокруг всё такое просторное, почему же так тесно?

Входила мама, всплёскивала руками. Иногда начинала плакать, как-то неуклюже опускалась на корточки возле меня, хватала первую попавшуюся под руки игрушку, дергала её, пытаясь оживить её фальшивым голосом, та брыкалась в маминых руках какое-то время и неподвижно замирала на полу, не желая оживать. Отец говорил однажды: «Человек не может быть и там и тут, он или там или тут». Я пожалел маму:

– Ты иди, я сам буду играть.

– Тебе грустно?

«Святая ложь, Дрёма, это самообман. Солгал, всегда означает одно – солгал». Я вздохнул:

– Грустно, мама, но я буду играть. Я обещаю.

Знаете, игрушки бывают живые и бывают плюшевые, яркие пластмассовые и бездушно деревянные. Вон солдатики, вчера под командой папы они браво маршировали по горам и полям, храбро бежали в атаку. Сейчас замерли в строю неподвижно и глядят вперёд пластмассовыми лицами.

Никогда не назову Артёма Александровича отцом. Никогда! Для него солдатики эти досадная неприятность на полу. Наступит, выругается и пройдёт дальше:

– Всё-то у тебя раскидано везде! Приберись, наконец, мешает ходить.

Отец о каждом солдатики заботился:

– Не бросай его, где попало. Играй сбор, Дрёма, солдатик в товариществе силён, и дружно, и любому отпор дадут, – потом задумается и посмотрит на меня, – А вообще-то, скажи мне Дрёма, ты хочешь попасть в бурю, и чтобы защиты не было над головой?

Дрёма отрицательно мотнул светлой чёлкой.

– Давай с тобой и о солдатиках позаботимся. Вот стоят они посередине комнаты, кто пройдем – для них буря, сметёт и того хуже – перетопчет. Ты как заботливый командир прикажи им маршировать в безопасное место и там лагерем становиться.

Мама накормит, наденет чистую рубашку: «Иди, играйся». Ей и невдомёк, что персик, посаженный мною в саду, всегда под присмотром. В любую погоду подойду, выгляну в окно: «Видишь, дождик, как ты хотел. Ну, пей, пей, а я о солнышке для тебя подумая». Папа так

говорил: «Мало поливать водой, нужно и добрым словом и сердцем поделиться, тогда и дождик вовремя и солнышко не сушит».

За окном моросил мелкий дождик. Было скучно, большой дом превратился в занудливого великана. Он что-то бурчал, хлопал и смуро смотрел на непогоду многочисленными окнами.

Внизу зазвонил телефон. Мама с кем-то долго и нервно разговаривала, Дрёма не слушал, но живо представлял себе самоуверенное мамино «не учите меня жить». И тут Дрёма не поверил своим ушам:

– Иди, отец звонит!

Слетев стремглав по лестнице, он выхватил телефон, и слёзы сами собой покатались по щекам. Папин голос слегка искажённый расстоянием и электрическими разрядами был как всегда бодрым и жизнеутверждающим:

– Хватит дождик по щекам размазывать и в мокрые места на рубашке превращать. Предлагаю расплескать лужи нашими ногами!

Я не поверил и выжидающе посмотрел на маму. «Разрешать или не разрешать, – как говорил всегда папа, – мамино право. Нам остаётся с тобой, Дрёма, согласиться с ним». На сей раз мама была благосклонна.

Я бежал как никогда, боясь, что злой случай не позволит мне встретиться с папой. Один раз я споткнулся и чуть не упал.

– Тихо, тихо. Куда торопимся? И ты уж реши: или дождь с неба или слёзы из глаз. А всё вместе – слякоть, хлябь и ничего не видно.

Папа подхватил меня на руки и прижал к себе.

– Ты почему так долго не звонил и не шёл. Я решил ты бросил меня.

– Дрёма, – отец отнял меня от груди и укоризненно посмотрел прямо в глаза, – не гоже забывать отцовские слова.

По щекам папы текли капли, может дождь? – я один раз видел его плачущим, когда умер дедушка.

– Какие слова

– Что же напоминаю: «Можно бросить камень...» – помнишь?

– «Но человека никогда». Человек прирастает к человеку и будто дерево: корень один, ветки в разные стороны растут.

– Вот и я говорю – мы с тобой одно целое: отец и сын. Уяснил?

Дрёме стало легко-легко, и он уже спокойно с особой теплотой прижался и обнял отца. Ему – ребёнку – теперь не нужно было доказывать многочисленные звонки по телефону, прозвонившие в пустоту, ночи без сна, когда духом сопротивляешься волчьему инстинкту, когда хочется выть, а потом бежать по тропе, алчно вынюхивая трепетные запахи живой крови. Когда жаждешь крови и неважно чьей, можно и собственной. Но прочь зверь! Прочь! Отец всегда был и будет рядом, как тот персик за окном.

Дрёма детским своим разумением решил: надо слёзы свои превратить в дождик, полил и уступил место солнцу и радуге. Так говорит папа.

Два дня они были вместе. Вечность и мгновение. За это время Чингачгук вместе со Следопытом успели выйти на тропу войны облазить все близлежащие горы и мирно закопать томагавк. А славные исследователи, натянув сапоги и дождевики, измерили все лужи в округе. Промокли, после чего пытались разжечь костёр, но он предательски не горел, шипел и пускал сизый дымок, смешанный с паром.

– Не унывать! Следуем курсом на дом. Пора уже пионерам обсушиться и подкрепиться. Ты как смотришь, Дрёма.

– Пора! А чем дома займёмся?

– Однако, скорый ты какой. Придумаем. На что нам голова. Не только же в неё кушать. Кстати, первым делом мы сварим борщ.

Дома всё было по-старому. Только в углу стола появился монитор, а под столом разместился компьютер.

– Папа и у тебя есть компьютер?!

– Имеется.

– Фи, да он совсем простенький, древний. Вот у меня навороченный, геймерский. Знаешь, как летает?

– Не знаю и знать не хочу. – Папа задумался на мгновение. – Главное, Дрёма, чтобы вот тут летало высоко и свободно, – папа пригладил свои поседевшие волосы. – Так, значит, ты зависишь теперь в компьютере?

Дрёма оживился и начал взахлёб рассказывать папе о своих играх и хвалится пройденными уровнями. Папа слушал и почему-то смешно морщился.

– Ты чего так морщишься?

– Пытаюсь понять, кто кем теперь играет. Дрёма игрушками или игрушки Дрёмой.

– Игрушки не могут играть людьми.

– Могут, ещё как могут. И открою тебе страшную взрослую тайну: чем старше и взрослее, тем сильнее эта зависимость от игрушек.

– Скажешь. Вы взрослые такие независимые. Я тоже хочу побыстрее стать взрослым.

– А я не хочу, – серьёзно заметил папа.

– Правильно – ты и так взрослый.

– Ты меня расстраиваешь.

– Как?

– Видишь ли, когда ты был крохотным, вот таким, ты смотрел на все детскими глазами. И ты и окружающий тебя мир не пытались поглотить один другого, вы без оговорок признавали себя частичками одного целого. А зачем, скажи, пихаться с самим собой – только шишки зря набивать. И я заново учился у тебя: открывал для себя мир детскими глазами.

– Да, ты не похож на других. Ты рядом и понимаешь. Другие свысока смотрят и поучают. Но всё-таки, папа, как не крути, когда поднимаешься с колен – ты взрослый.

– Да выросли под потолок и падают посильнее детей. Зачем же ты стал измерять мир большими домами? Так мы с тобой однажды разминемся: я – опускаясь на колени навстречу детству, а ты, наоборот, вытягиваясь и взрослея.

– Нет, папа. Никогда.

– Вот и слово «никогда» научился говорить. Сказать легко, Дрёма, исполнить, – папа нахмурился, – вот тут закавыка. Тут и богатыри ломаются, они силу прилагают, а не думают, что силой сила пробуждается, и кто кого одолеет ещё вопрос. Ты мне сейчас об играх своих рассказывал. Битвы, гонялки, стрелялки – силу в себе пробуждаешь? Героем хочешь быть?

– А что тут плохого, быть героем?

– И вопрос твой не зря прозвучал. Уже разделил мир на плохих и хороших? Дрёма не расставайся с детством – это правильный взгляд, проникновенный. Этот взгляд куда шире наблюдаемого мира. В детском мире никуда взбираться не надо, ни на какие крутые горы и семью потоками при этом захлёбываться, и всё ради пьяного созерцания самого себя на вершине. Зачем подниматься, когда и вознесён и вознесут, только обратись, попроси. Сама любовь баюкает тебя. Кто у любви тебя отнимет, кто сильнее её? Меч, стихия? – что бури земные – плёс в лужице. Хорошо, уж коли людям так хочется верить в обман, то пусть обман начнёт отстаивать правду. Для истины, Дрёма не существует ни плохого, ни хорошего. И добро может быть злым и зло учит терпению и смирению. Я теперь там где истина. Почему я так уверен в истинности, спросишь ты. Не самоуверен ли я? Самоуверенность, Дрёма, это когда: Я и мир.

Теперь же мир во мне и я с миром. И всё приму с любовью. Убивать будут – не убьют. Да и какой смысл. Всё равно, что воду рубить.

Папа поднялся:

– То, что сказал, Дрёма, не забывай. Если меня не будет рядом в трудную минуту, вспомнишь, и я приду к тебе.

– Придёшь?

– Не сомневайся ни на секунду. С каждым словом приду, – папа погладил сына по голове, – а то, что компьютер у меня древний... Не беда. Покупал его вместо печатной машинки. Вещь удобная, – папа задумался над клавиатурой, – и как всякая удобная вещь – вредная. Да вот, писать стал на досуге. Пописывать. Впрочем, не мне судить. Слово меня и рассудит. Да вот.

Папа был явно чем-то озабочен. Он словно боялся переступить некую черту.

– Значит, говоришь, играешь. И во что?

Дрёма сразу оживился, пытаясь передать всю прелесть замысловатых аркад и невероятную сложность прохождения уровней.

– Там всё так реально, папа. Всё по-настоящему и горы, и лес, и вообще всё.

– Реальное?

– А ты сомневаешься?

– Ну что ты. Если ты так утверждаешь, как не поверить. Значит я прав насчёт полезности и вредности под одной крышкой, – он помолчал и затем добавил, – обложкой. Такая умная вещь получается этот твой компьютер?

– Очень!

– Оно и видно – так мозги пудрить. Вот и я боюсь слово превратить в слова. Много умных слов. Да видно таков мир: будем отталкиваться от вредности, чтобы однажды придти к чему-нибудь достойному. У меня как раз в этих электронных мозгах одна игрушка закачана.

– Ух ты, какая?

Дрёма ждал с нетерпением, пока загорится экран. Когда он заметил знакомый значок он вскочил и, тыча пальцем, гордо произнёс:

– А знаю – это стратегия, я в такую играл.

Отец улыбнулся:

– Ты, наверное, замечал – я по земле, как и все, хожу.

Дрёма уже воодушевлённо примерял к себе образ стратега: за кого? Ему захотелось блеснуть теперь перед папой командирскими навыками, и талантом стратега, когда за экраном маршируют армии, сминая врага, а славный тыл куёт клинки булатные. Папа перечеркнул воинственные планы одним кликом мышки:

– Будем учиться созидать, души у нас пыльные – слабые, начнём с виртуальных миров. А там, глядишь, и в настоящий, большой мир незаметно вернёмся. Вот тебе мой мир, дострой его. Не сомневайся, хоть он и кажется законченным – это только кажется. Смело созидай. Окунайся.

Когда отведённые неумолимой маминой волей два дня истекли, Дрёма упёрся:

– Никуда я не пойду от тебя!

Папа опустил на корточки, долго молчал, сжимая детские плечи ладонями. Потом решительно вздохнул:

– Ты считаешь, взрослый мир устроен правильно и справедливо. Не мне судить, но вот послушай. Так получилось, что на сегодняшний день я оказался слабее правды жизни. По молодости я искал свою правду, но её ищут с мечом и отстаивают со щитом. И щит у меня был и меч, а как же – герой. Сегодня я собственноручно выкинул меч и раскрылся, обезоружил себя сам – для меня открылась другая сила. Я тебе уже не раз говорил о ней – это любовь. Теперь вся моя жизнь посвящена ей, и перебегать больше туда-сюда не собираюсь.

Папа наклонил голову, словно решая, говорить дальше или не надо. Дрёма смотрел на короткую отцовскую стрижку и неожиданно для себя обнаружил, седых волос стало куда больше чем до расставания. И снова он увидел пристальный и ласковый взгляд:

– Мне бы уйти, куда подальше от греха, но у меня есть ты, – папа улыбнулся, – куда я без тебя. Выбирать не приходится, понимаешь, Дрёма.

Дрёма насуплено слушал. Папа крепче сжал ладони и снова разжал их:

– Как же мне поступить по взрослой правде? Первое, пойти и драться за тебя. Биться в кровь и до смерти, – неожиданно лицо отца стало жёстким и неузнаваемым.

Дрёме стало жутко.

– Ты желаешь этого?

Дрёма так испуганно замотал головой, что на секунду закружилась земля под ногами.

– С первым уяснили. Второй выбор взрослого от лукавого: решать свои споры в суде. Лицемерные судят лукавых и закон побеждает. Закон, – папа задумался, – что могут написать люди? Сколько людей столько и сочинений, и мы для них буква, «очередное дело и ничего личного». Суд похож на заправскую прачку, стирающую грязное бельё – дело нужное – но в том то всё и дело, Дрёма, прачке не важно, как мы спим для неё важнее на чём. Чистые простыни для неё понятнее и нагляднее некой тёмной души, о духе и заикаться не смей, сразу к психиатру на обследование отправят.

Дрёма слушал и многого не понимал. Но, то ли голос отца, то ли то, что он говорил, всегда успокаивало его. Нужно ли понимать музыку? От одной заводишься и хочется беситься и носиться по комнате, с другой мирно засыпаешь и оказываешься в сказке. Дрёма слушал и капризно сжатые губы разжимались сами собой. Слезы высохли, мальчик прислушался:

– Имеется и третий путь, Дрёма. И он всего ближе для меня и я выбираю его.

– Какой папа?

– Терпение. Путь терпения. И если мы с тобой выдюжим на этом пути все наши испытания, мы обязательно, слышишь, обязательно будем вместе.

– Как?!

– Не знаю. То ли потоп с неба смоем все преграды, то ли земля сотрясётся от возмущения и сквозь непролазные горы проляжет новый перевал, то ли рак, наконец, однажды, как свистнет, утёнок всё-таки превратится в лебедя, а щука заговорит человеческим языком. Не знаю, – папа сам развеселился и засмеялся, – и никто не знает Дрёма. Этим-то и прекрасен третий выбор. Теперь, когда ты услышал, какие дороги нам предстоят, выбирай нашу.

Дрёма, не раздумывая, произнёс:

– Терпения. Я выбираю терпение. А щука заговорит, папа?

– Поживём, увидим. Главное – выдюжить. И помни, у себя в компьютере только создай. Только создай и никогда не разрушай! И вот ещё: сильно не доверяй своё время этому виртуальному обманщику. Обманет, обязательно украдёт твоё время и скроется. Тот, кто развлекает – всегда крадёт время.

И мы расстались, с того дня я папу больше не видел. Как тут выдюжить, когда рядом нет отца?

\* \* \*

Вскоре все новостные программы по телевизору объявили о войне. Люди только и говорили о войне, судачили, плакали, вздыхали.

Вечером за ужином отчим, аккуратно поддевая на вилку бифштекс, сообщил маме:

– Сегодня вызывали в военкомат. Мобилизация предстоит.

– Ох ты, господи! И тебя?..

Артём Александрович хитро подмигнул:

– Там же Володька военкомом сидит. Он посоветовал как увернуться.

- Ой, ну, слава Богу! А я уж испугалась.
- За мной не пропадёшь. Верно.

Артём Александрович хитро взглянул на Дрёму. Тот неопределённо пожал плечами. Неопределённость вообще стала самым близким советчиком Дрёмы.

Доброе ясноокое детство осталось, видимо, позади. Оно вместе с отцом взошло на тот памятный парусник и скрылось за солнечным горизонтом в розовых облаках, белым же облачком.

Всё чаще по некогда цветущему сказочному саду, где запросто можно было встретить чудеса и где облака опускались прямо на землю приглашая совершить стремительное путешествие в заоблачные дали в страну радостных грёз и добрых волшебников, так вот, всё чаще в этот сад проникали хмурые насупленные типы. Они всё что-то высматривали, примеривались, межевали, в их руках появлялись рулетки и шагомеры и, бубня себе под нос бесконечные цифры, они начинали вышагивать и вымерять, вбивать колышки и городить заборы. Эти типы, нисколько не стесняясь, настаивали на своей и только на своей правде. Удивительное было в другом: с ними трудно было не согласиться. На каждое твоё неуверенное: а зачем? – они веско отвечали: так надо и так правильно, так устроен этот мир, сынок.

- Дрёма, пора становится серьёзным. Ты уже не ребёнок.

Артём Александрович поправил загнувшийся уголок газеты и взглянул на Дрёму поверх очков.

– Отец твой играл с тобой, так как ты был маленьким. Сейчас ты подросток. Я бы сказал, даже вырос. Когда я был в таком же возрасте, примерно, я бегал на плодоовощную базу и подрабатывал. Время было такое – трудное. А я мечтал о велосипеде. Родители позволить не могли, вот и приходилось самому крутиться.

- До сих пор не можете купить велосипед?

– Дрёма, – мама, сидевшая на диване, всплеснула руками, – с тобой по-хорошему, а ты ёрничаешь.

- Я не ёрничаю, я спрашиваю.

– Велосипед я давно себе купил. И машину, и дом, и всё остальное.

- Тогда зачем ещё столько работать?

– Ну, хотя бы для того, что бы семью прокормить.

– А мне всегда голодно.

– Ну что ты такое говоришь – холодильник всегда забит продуктами.

– Холодильник может и забит. Да я там не помещаюсь и холодно там.

– И в кого ты такой злюка? В отца? Что-то он не больно о тебе заботиться.

– Вы его знали?

– Нет, и знать не хочу. Таких перелётных папаш... вон стаями носятся над головами, всё никак к одному берегу прибиться не могут. Юга им подавай.

– Так и вы не на севере. И как вы вообще можете судить о человеке, не зная, ни разу не видя его!

– А по делам. По делам. Тебе отец разве не говорил, что по делам познаётся человек.

Дрёма сразу сник и потупился:

– Говорил. Задолго до вас говорил.

– Вот видишь.

– Не вижу! Забор мешает.

– Какой забор?

– А вон тот, трёхметровый. А за ним другой, через дорогу, а там ещё и ещё. Я лишь дворик обзираю! А...

Дрёма отчаянно махнул рукой и выскочил из зала.

– Дрёма садись за уроки! – донёсся из зала раздражённый голос мамы.

Дрёма сидел за письменным столом и невидящим взглядом смотрел на раскиданные учебники.

И чего я завёлся! А пусть отца не трогает, устроитель плюшевый. И всё-то у него правильно. Каждый гвоздь ладненько так приколочен, по самую шляпку, «чтобы крепче было». А отец получается так, трясогузка?.. Вопрос повис в воздухе.

Слёзы сами собой покатались из глаз. Дрёма ничего не мог с собой поделать, жалость так сдавливала горло, что слезам ничего не оставалось, они заволакивали глаза и обильно катились по щекам. Тогда он начинал зло вытирать их. Плакса! Папа как говорил: «В слезах правды не ищи, одна жалость к себе. Мутные они». А ещё он говорил, что когда я вспомню о нём, он непременно придёт. Где ты, папа? Почему не идёшь! Как ты сейчас нужен рядом. Рядом и с нужным советом. Вон Артём Александрович всегда рядом (когда не работает, а работает он всегда) и правда его как этот дом, трёхэтажная и на фундаменте покоится. Захочешь, не сдвинешь. Нет, папа, что-то не так в твоей любви. Какая-то она слабенькая, Артём Александрович пришёл, взялся хозяйской хваткой и любовь и сына высоким забором обнёс. Ключи в кармане носит, никого чужого не допустит.

Терпение, говоришь, откуда же ему взяться, когда нетерпеливые всегда побеждают. Хочу и баста! Артём Александрович всегда говорит: «Свое нужно брать. А то непременно другому достанется. Оглянись, весь мир на ловкости и силе построен. Не успел, не схватил, не удержал и ходи потом голодный. О любви можно говорить сколько угодно, сериалы смотреть, но твоя мать правильно делает. Посмотрит, похаает и к плите идёт готовить, а потом ещё и на работу спешит. Любовь слабаки придумали. Ею ни одну женщину не заманишь».

Дрёма тогда смутился. Артём Александрович напомнил ему экранного ловеласа с похабной улыбкой оголяющего мать. Впрочем, Артём Александрович во всём оставался самим собой, и когда он слюняво приглаживал усы, не пропуская ни одной короткой юбки, он думал что и мальчик смотрит теми же глазами. И даже злился, когда его точка зрения не воспринималась так, как надо:

– А, что ты пока можешь в этом понимать. Мал ещё.

Но с ним было интересно.

– Будь мужчиной. Хочешь порулить?

Глаза Дрёмы озорно вспыхивали.

– Хочу.

– Тише, тише, не газуй. Машина, как женщина – чуткость любит. Прислушивайся и тогда будешь переключать передачи так, как надо.

Дрёма удивлённо взглянул на Артёма Александрович. «Прислушивайся?» Точно так же говорил и отец.

– Чего смотришь, на дорогу смотри...

Дрёма полистал учебники, прислушался, что происходит внизу в зале и подошёл к компьютерному столику.

В последнее время в его виртуальном мире, который они начали создавать ещё вместе с отцом начало происходить нечто странное.

## Глава пятая. Переходный возраст

\* \* \*

Рисуя заэкранный мир, Дрёма вольно или невольно, вносил в него образы мира настоящего. В самом начале, когда монитор светился унылым зелёным фоном, отец обернулся к Дрёме:

– Люди думают, что создают нечто новое, когда электронной кисточкой рисуют виртуальные миры. И кисточка, и сам человек никогда не покидают мира настоящего. Виртуальное всегда отражение реального. Запомнил? И никогда не обманывайся по этому поводу. А сейчас в путь.

Теперь гуляя по горным тропинкам и выходя на пляж Дрёма не удивлялся, более того радовался: похоже очень похоже, прямо как в жизни. Вот сейчас обогну скалу, и будет озеро. Каменистый спуск, тёмно-зелёные заросли рододендрона, над которыми белые бутоны цветов, похожие на плиссированные воротнички. Розовые метёлки иван-чая, синий лён и голубые колокольчики разноцветными струйками стекают прямо к озеру.

Дрёма гордился одной художественной находкой. То, настоящее, поле напоминало большую воронку с покатыми склонами, заросшую густой травой. Лес почтительно топтался на опушке, уважая открытое пространство и солнечный простор. Дрёма, прищулив один глаз, невдалеке от озера посадил разлапистую сосну. Отстранился, как делают настоящие художники и, довольный собой, улыбнулся. Тоненькие длинные иголки и жёлтая кора на изогнутых ветках совсем не затеняли поляну, но делали её какой-то особенной, своей, добавляя изюминку в пейзаж.

И так было везде. На морском побережье, и в журчащем ущелье, сплошь покрытом влажным мхом. В широкой пойме реки раскрывающейся навстречу морю и огненным закатам.

Вначале он поселил среди выдуманных ландшафтов себя одного. И ему не было скучно. У него целый мир, свой неповторимый мир. Подобно первооткрывателям робинзонам он совершал длительные и однодневные походы. Что-то дорисовывал, где-то преобразовывал. Вдохновение не покидало его, детская увлечённость и способность целиком отдаваться сказочной реальности, подталкивали вперёд. Именно потому, что дети видят мир намного шире и проникновеннее взрослых позволяет им с лёгкостью опрокидывать стены тесных комнат и превращать их в необъятные просторы и океаны, то ли космические, то ли степные. Дети из обыденности творят сказку и верят в её реальность, с той же наивностью с какой они смотрят на взрослых снизу вверх. И сказка, и взрослые не разрушают друг друга, не воюют за каждый метр, но дополняют, и для всех находится место в детских играх.

Дрёмины долины никак не хотели обзаводиться селениями и городами. Он радовался пустынности, так же как радовались они с отцом, когда совершили пятидневный поход высоко в горы. Высоченные пихты вдруг замерли в нерешительности и отступили назад, а дальше, выше простирались широкие луга, сплошь покрытые цветами, словно кто-то нечаянно разлил акварельные краски и те пёстрой пятнистой палитрой залили всё вокруг. А ещё выше, если задрать голову, высятся скалы, отстранённо неприступные.

– Туда мы не полезем с тобой. Мы же не пришли завоёвывать вершины и ублажать свою гордыню, – вдыхая всей грудью, обратился к Дрёме отец.

Ах, как было вольно свободно. Они облазили все близлежащие цирки, полные загадок, осыпей и ледников. Лакомились черникой и с чернильно-сиреневыми губами возвращались в свой вигвам-палатку. Выдумывали игры и выслеживали туров, и никто не мешал, не встревал с советом и окриком, а когда пришёл день сбора, и палатка беспомощно обмякла на траве, они

с отцом загрузили. Что обратно? Дрёма запомнил это ощущение свободы и всячески сохранял её заповедность в своём придуманном мире.

Но вот отца давно не было рядом. И тогда Дрёма начал замечать некоторую странность. Кто-то невидимый и загадочный пытался выглянуть наружу, осмотреться. Он обязательно прятался. Из укрытия пылливо посматривал на Дрёму, пока мальчик, не обращая ни на кого внимания, укладывал серую гальку на берегу молочно-синей реки.

Дрёма отвлёкся, поднял голову и настороженно начал вглядываться в кусты и тень под кронами деревьев. В его лесах и в траве было полно живности. Она ухала и ворчала по ночам, а днём стрекотала, порхала, звенела, свистела, исполняя партии и увертюры в беспримерно многочисленном оркестре. Его мир ползал, летал, и спускался к водопоям. Изящно вскидывал голову, украшенную ветвистыми рогами, и с интересом провожал одинокого путника. Его мир был заселён дикой природой, и в нём не было страха. Одна чуткость. Он жил по одному ему понятному закону. Закону широкоглазого детства.

Кому нужно было столь пристально изучать создателя и единственного поселенца прекрасного не воинственного мира? Ощущение нехорошее, скользкое, будто кто-то подсматривал постоянно в замочную скважину. Высматривал и смаковал, оставаясь в тени. Хотел что-то выведать, не разглашая собственные планы и намерения.

Дрёма стал оглядываться. Кто это может быть? Однажды он не выдержал и решил построить стену на берегу его любимого озера. Начал таскать камни, ровненько укладывать. И чем выше поднималась кладка, тем спокойнее становилось. Дрёма удовлетворённо отходил в сторону и любовался: а что неплохо, может ещё башенку добавить. И добавлял. Вскоре на берегу озера среди стелющейся глянцевой листвы возвышался небольшой замок. Очень романтичный, увенчанный башней с зубцами с остrokонечной крышей сложенной из рыжей черепицы. Точно такие он не раз видел на гравюрах и рисунках когда читал о рыцарях. Дрёма не мог нарадоваться. Проверил крепость ворот и неприступность. Потом выразил всё одним словом: прелесть!

После чего отправился в поход. По дороге искупался в речке. Поднялся на противоположный берег. По крутой весьма извилистой тропинке вскарабкался на белые скалы, раздвинул свисающий с веток деревьев косматый самшит и обомлел.

Перед ним возвышалась крепостная стена. И высокая, и неприступная. Башнями обращёнными именно в ту сторону где посреди воронкообразной поляны красовался в водах тихого озера другой замок. Его собственный.

А это тогда чей?

Дрёма и не заметил, как раскололся его собственный мир.

Что-то он стал забывать? Останавливался, оглядывался недоумённо и никак не мог понять. И пройденный путь, и новое, открывающееся за ближайшим поворотом, ничем не отличались друг от друга. Переставь две картинки местами и ничего не изменится, за исключением деталей и ощущения: «там я уже был», и «что дальше?»

Будто зимнее окно, о котором рассказывал ему когда-то дедушка. «Сначала створки нараспашку, сигай свободно хоть туда хоть сюда, благо дом на земле стоит. Но вот утром трава покрывается инеем, становится прохладней и окно однажды захлопывается. Смотришь и видишь как прежде, а уже не сиганёшь. Иней сменяется снегом, мороз крепчает. По краю стекла начинает образовываться узорная ледяная корочка. Сначала тоненькая едва заметная, мороз не унимается, крепчает, за спиной начинает трещать печка, и окно постепенно начинает затягиваться ледяными всевозможными узорами. Тут и сказочные зверушки и прозрачные цветы и листва, какой в лесу и не встретишь, так увлечёшься, рассматривая, что и не заметишь, как всё окно стало непрозрачным. Солнечный свет, мутным пятном едва проникает внутрь. Тут тепло и уютно, и лампочка светит, но что-то подсказывает: истинный свет, внучёк, всё же там – за окном...»

Дрёма выключил компьютер и долго смотрел на чёрный безжизненный экран, где в самом центре пятнышком догорали разноцветные огоньки. Вскоре и они погасли.

Когда затворилось его окно, из которого можно было «сигать»? Дрёма не заметил. «Память – это обман. Она всегда ответит, что было, но почему это случилось? И тут начинаются домыслы и воображение. Память – это жизнь настоящая и она никогда не допустит, чтобы некое прошлое хоть в чём-то превосходило её. И уж если воздавать ему – прошлому – хвалу, то с подтекстом: посмотрите на меня, хороша!» «Что же мы Иваны родства не помнящие, папа?» «А для этого и нужны дедушкины рассказы, да бабушкины побасёнки, – только вот, – папа улыбнулся, – когда в них день настоящий подменяет день прошедший?»

И в школе и дома, в играх со сверстниками ему приходилось всё чаще отстаивать право на детство. Дети над ним смеялись, бывало, незлобиво издевались, будто в шутку. Взрослые наставляли и, чем старше он становился, тем настойчивее и настойчивее. Отец к знаниям относился с уважением: «Опыт великое дело, но и поклоняться ему как идолу?.. Приглядишься, идол стоит на чьих-то домыслах и теориях. На первый взгляд вроде крепко стоит, доказательно, а нет – шатко, пришёл новый умник, прицелился глазом: „Врёте – криво“, – деловито засучивает рукава и начинает подкладывать другие домыслы и теории. Относись к опыту с уважением – он старше, он жизнь прожил. Относись заботливо – опыт и сам не замечает своих старческих немощей, для него время остановило свой ход. Но и не поклоняйся слепо, учись прислушиваться и слышать. Всегда поступай по любви».

Позавчера он сцепился с Пашкой из параллельного.

– Нужно быть крутым. Вот и вся любовь. А ты кретин какой-то. Может ты из этих, – Пашка похабно ухмыльнулся, – кокетливых мужчинок.

Разговор начинался безобидно

– У Серого Бряцалова самый клёвый папаша. И сам на новой «семёрке бэхе» раскатывает. Красавчик. И сыну «приору» подогнал, новую. Чтобы, значит, на дискотеку не пешком ходил. Вот это я понимаю – отец. А ты мне: любить детей надо и тогда войны не будет. Тебя твой отец любит? – а придёт время вызовут в военкомат и скажут: на тебе автомат, иди, стреляй. И отец твой не поможет. Да его и рядом не будет. А Серёгу Бряцалова батя отмажет. По-любому отмажет. Да он весь военкомат с потрохами выкупит, если надо ради сына. Вот где любовь. И не втирай мне.

– И тебя?

– Что «и тебя»?

– Призовут в военкомат.

– Призовут, – кисло скривился Пашка, – батя, хоть сутками пахать будет, а на военкомат ему не хватит. Да оно ему и не надо. Он говорит: «Я служил, и ты иди, служи».

– А будь там, в военкомате, мой отец он никого не призвал бы. Призывают такие как Бряцаловы, для него и мы с тобой, и наши отцы – «приора сыну, мне на семёрку».

– И чего. У наших отцов, значит, пупок слабоват. Вот и пойдёшь с любовью своего отца туда, куда Бряцаловы укажут. Таким и нужно быть – сильным. Твой отец против него тряпка половая. Вытрут ноги и дальше пойдут, – Пашка приблизился и доверительным тоном добавил, – и будут правы.

– Что ты сказал!..

Их быстро разняли, и не так больно было от ноющей скулы, по которой успел ударить Пашка – он ведь тоже не промах и кровь из пашкиного носа тому доказательство. Обидно было. Он дрался непонятно за что, если разобраться – Пашка прав. Надо мной уже все смеются и поделом.

О любви только девчонки и шепчутся и то посмеиваются. Скажут и тут же прикроют рот ладонью и прыскают, кокетливо постреливая глазами. Мама дома сериалы смотрит, и сериалы

те словно склеены из лоскутков, разноцветно, броско, спросят что видел, пожмёшь плечами – ничего. В тех сериалах только и слышно: любовь, любовь. Вот получается: ничего.

Любовь это обыкновенное слово, каких сотни тысяч. Сказал и смутился. А почему смутился, кто его знает. И многие смущаются, я замечал, каждый по-своему. Кто-то краснеет, другой начинает говорить пошлости, выражая странное нетерпение и даже отторжение к этому слову. Так отбрасывают горячее, когда нечаянно обожгутся.

«Им стыдно, но они никогда в том не признаются. Они могут и не догадываться, почему, но им стыдно за предательство». «Какое предательство, папа, кого они предали?» «Любовь и предали. Живут под её сводами и ругаются: почему так неустроенно, заливаает и холодно». «Так ведь строилось по любви, а живёте вы как? – выталкивая один другого».

Если честно, Дрёме хотелось бы оказаться на месте Серёги Бряцалова. Разве его не любят? Что пашкин папаня? – пришёл с работы схватил пиво и к телеку. Ему ни Пашка, никто ему не нужен, такому и я лишний рубль не дал бы – пивом захлебнётся. А мой папа, хоть кричи – не докричишься.

А Артём Александрович? Правильный и тяжёлый как стальной шар, катится и подминает. Тебе, Дрёма, с ним хорошо? Ну, признайся, что да – хорошо. Беззаботно. Не скажи.

Так в виртуальном мире мальчика, незаметно для самого создателя, вырисовывался свой рисунок, своя жизнь. В ней отцовские краски, которыми он осуществлял поиск новой жизни, смешивались с красками твёрдой правды бряцаловых и артемалександровичей, Дрёма-живописец обмакивал в них кисть и начинал водить по холсту. Какие образы роятся на том холсте, светлые, задумчивые, чьи глаза и в старости не теряют детской прозрачности и солнечности или люди-монументы, бронзово поблескивающие в лучах солнца?

Одному Богу известно.

Дрёма подошёл к дому и толкнул калитку. Он прекрасно знал, что она всегда заперта, но сейчас ему захотелось хоть какого-нибудь чуда: толкнуть и что бы калитка сама собой распахнулась, а внутри не хозяйский порядок – где всему своё место – но сад, кудаходишь и калитка тут же пропадает, и стены...

– Ты где бродишь? В твоей комнате опять не прибрано! Стыдись, я нашла сегодня под твоей кроватью огрызок от яблока.

Дрёма, молча, выслушал наставление, соглашаясь и не перечая. В последнее время дела у Артёма Александровича не ладились и это, подобно сообщающимся сосудам, тут же выливалось на семью и на всякого, кто посмел попасться ему на пути:

– Одни козлы по дорогам ездят!.. Куда баран прёшь, тебе баранов в горах пасти на лошади, а ты всё туда же – в цивилизацию! Тут тебе не горные тропы, а дороги с разметками и знаками... Знаки? Это вон те красивые картинки у обочины! Ну бараны! Нет, ты глянть, они уже по пешеходкам гарцуют! Джигит Шумахероич! Мерседес Арбович! А что б вас...

Артём Иванович всё больше распаялся и не замечал, как сам нетерпеливо выскакивал на встречную полосу, создавая соседям неудобства и оттирая их в кювет.

– Да мне начихать на все пробки в мире, когда я опаздываю!

Дрёма помалкивал рядом на сиденье, по опыту уже зная: помалкивай и не будешь слюни вытирать с лица. Он со скукой смотрел в окно и мечтал побыстрее хоть куда-нибудь доехать и покинуть удобный велюровый салон машины.

Теперь, вернувшись из школы, Дрёма терпеливо выслушивал ворчание матери и незаметно заводился сам – сообщающиеся сосуды. Выполнив все поручения и выслушав мамин причитания по поводу «троек» и «безалаберного отношения к жизни», Дрёма влетел по лестнице, хлопнул дверь и бросился на кровать.

– Как вы все мне надоели! Учат. Учат, учат! Все учителями хотят стать. Вон и Пашка «живите» через Ы пишет, а всё туда же: «Жить нужно в кайф». Не могу!

Дрёма уткнулся лицом в подушку. Отец ты обещал... Обещал ведь: будет трудно – приду. Трудно! Давно трудно. Невмоготу!

С улицы раздался звонок. Послышался мамин голос:

– Иду, иду! Сейчас открою!

Им всем чтобы впустить человека нужно открывать запоры и засовы, – обижено подумал Дрёма и закрыл уши уголками подушки.

Стало тихо, наружные звуки едва доносились. Дрёма услышал, как учащённо бьётся его сердце. Оно словно кулаками стучало в грудь и требовало: выпустите меня немедленно! Я требую! Ишь ты какое – «требую». Папа в таких случаях говорил...

– Дрёма!

Вроде зовёт кто-то? Мерещится что ли? Нет, вот снова и уже нетерпеливее:

– Дрёма, слышишь?

Дрёма недоверчиво отстранился от подушки. Звуки жизни защебетали вокруг.

– Дрёма, сынок!

Идти не хотелось – опять будет выговаривать, учить. А идти нужно.

Дрёма нехотя поднялся и вышел во двор.

Мама стояла у калитки, рядом с ней стоял незнакомый мужчина. Мама плакала.

– Дрёма, подойди, – мама всхлипнула, – познакомься это...

– Я служил вместе с твоим отцом... Дрёма.

Мужчина замаялся и начал вытаскивать из сумки потрёпанные тетради похожие на журналы дежурств в гараже. Почерневшие от грязных прикосновений листы, оттопыренные уголки. Ничем не примечательные тетради. И даже белые лошади, некогда мчавшиеся по глянцевому зелёному полю, теперь будто сломались на изломах, и вот-вот были готовы споткнуться и упасть. Белая масть превратилась в грязно-серую. Дрёма недоумённо смотрел, то на заплаканное лицо матери, то на одутловатого мужчину, то на невесть откуда взявшиеся тетради, неловко теремые мужской рукой.

– Вот... Возьми.

– Что.

– Это тетради твоего отца. Он просил, вот.

– Отца!? А он сам... где?

Мужчина потупил взор, будто провинившийся ученик.

– Дрёма. Дрёма, твой отец... отец погиб. Погиб храбро. Честно.

– Так, где же он?! Почему сам...

– Дрёма ты слышишь, он... он погиб на войне. Там многие погибают, такие дела вот.

– Мама.

Дрёма взглянул на маму, он не мог понять. Как так? Вот стоит мама молодая и здоровая, почему же отец не может стоять рядом? И что такое лепечет этот мужчина. Ведь он много старше отца, но он стоит, здоров и невредим, и говорит что... Он что не понимает, отец моложе его и не может... Это против жизни!

Лица и двор стали мутными. Дрёма опустил голову, ему стало неловко, мальчик и вдруг эти проклятые слёзы. Кто вас просил! Кто сказал, что отца нет, и больше никогда не будет?! Мальчик почувствовал чью-то робкую руку на голове:

– Возьми, сынок. Тетради просил передать тебе твой отец... если что. Я исполнил.

Рука неуверенно взъерошила волосы Дрёме и вспорхнула испуганной птицей. Мальчик словно сквозь мутное стекло видел, как отяжелённый животом вестник пятился к калитке. Потом остановился, развёл руками и виновато произнёс:

– Твой отец был героем. И погиб как герой. Такие дела. Ну, я пойду.

– Может... может зайдёте, чаю...

Мамин голос был тих и неуверен.

– Меня ждут. Я в «Ворошилове». Там, значит. Направили на лечение. Вот телефон, звоните, если что. Я пойду. Вам нужно побыть одним.

Мужчина, так же пятясь и, зачем-то всё время неловко наклоняя голову, будто извинялся, толкнул калитку.

Дрёма и мама остались одни во дворе. Мама прижала к себе сына и оба заплакали.

В тот день и Артём Александрович сначала раздражённо потребовавший закрыть ворота: «Даже ворота открыть некому, вот дожился. Сигналю, сигналю, никому дела нет!» – узнав новость, вдруг присмирел. Поднялся в Дрёмину комнату, присел на край кровати. Посидел, ничего не говоря, потом неуверенно коснулся плеча подростка, сжал его.

– Ты, если чего, обращайся. Хорошо. Ну, я пойду. – Уже у двери он повернулся, – жизнь такая штука, она ни для кого не бывает вечной. Пойми это. Посиди тут и спускайся, будем ужинать.

Дрёма, пролежавший весь день, ничего не ответил, он только глубже зарылся в подушку. Рядом на тумбочке лежали тетради.

«Жизнь такая штука...» – звенели в ушах последние слова Артёма Александрович. – Штука, штука... В его устах и жизнь будто безделушка какая-то, слово неживое. Штука. И папа... неживой. Штука... Нет, нет, нет! Не может быть!.. Может. Но только не с папой, он обещал придти. Он говорил: жизнь вечна. Не придёт. И Артём Александрович прав. Он всегда прав. Он как этот дом – фундаментальный, он есть. А папы нет.

Дрёма силился вспомнить хоть что-то. Получалось расплывчато. Воспоминания дрожали, напоминая каплю готовую вот-вот сорваться с листа. И капля естественно срывалась и падала вниз. Дрёма никак не мог чётко вспомнить отца – размазанный пролетающий мимо силуэт, призрачно появлялся из ничего и тут же зыбко пропадал. Ты говорил, дела определяют человека. Дела Артёма Александровича можно пощупать, они греют и спасают во время дождя. А твои дела, папа? Где ты!

Дрёма повернулся на спину и уставился в потолок. Тот мужчина, который принёс весть о гибели отца, сказал, что ты был героем. Дрёма задумался. Не так он представлял себе героическую гибель. Весь предыдущий опыт его, основанный на рассказах, книгах и фильмах настойчиво нащёптывал ему: а где почётный караул, почести, где вереница сочувствующих, венки, рукоплескание, где?! Словно тебя и не было на этой земле, папа. Словно ты метеор, мелькнул на небосводе и пропал. Сгорел. Кто успел, загадал. И чёрное небо. Провал над головой, куда жутко иногда бывает заглядывать.

Дрёма ясно вспомнил ощущение одиночества и уязвимости. Когда они ночью сидели с отцом у догорающего костра. Кругом на многие километры ни души. Альпийский луг с последними лучами солнца потерял своё поднебесное очарование, сжался до круга освещаемого костром. Вдоль ущелья потянул прохладный ветерок, проникая под куртку и свитер. Звёзды попытались оживить вездесущий мрак. Тщетно. Тучи заволокли небо, ещё больше сгущая тревогу перед неизвестностью. Дрёма прижался тогда к отцу. Он обнял: «В этом мире, Дрёма, только человек человека может согреть и обнадёжить. Все крыши мира из черепицы ли, металла – не важно – такого не смогут никогда». Дрёма сначала поверил. Но когда ночью разразилась неистовая гроза и полог палатки начал злобно рвать свистящий ветер, он засомневался. И успокоился только тогда, когда отец залез к нему в спальник и крепко прижал к себе: «Спи. Это всего лишь стихии. Любовь уберёжёт нас. Спи». От тёплой близости отца исходило непонятное спокойствие, мальчик уснул. Утро было солнечным, луга обновлено сверкали. Над ущельем изогнулась радуга. Да так явственно, что Дрёме показалось, шагни и сразу окажешься на соседнем хребте.

Воспоминания улетучились. Дрёма снова увидел лепной потолок, люстру. Стоит подойти к выключателю, щёлкнут, и станет светло, и комната зальётся светом. Там палатка и живое

тепло, тут крыша, электричество. Чему верить? Отца уже нет и не согреет живое тепло, а люстра, вон она на потолке с хрустальными сосульками. Живее всех живых?

Дрёма включил светильник на тумбочке. Протянул руку, подумал секунду и взял толстую тетрадь. Долго рассматривал грязных затрёпанных лошадей и перевернул обложку. Первое, что бросилось в глаза, совсем не вязалось с тем, что говорил сегодня скорбный вестник: «Твой отец погиб геройски».

Первые строчки тетради начинались так: «Я пишу не для того, чтобы предстать перед тобой этаким героем, браво гарцующим на белой лошади. И не оправдываться буду я. За что оправдываться? За жизнь обыкновенную? Или за жизнь яркую полную приключений и подвигов? Сын не живи правдой – и не будешь оправдываться. И герои пишут мемуары и в них вольно или невольно оправдываются: я так поступал потому, что иначе не мог. Героизм протекает из правды жизни. А правду создают люди. Спросишь, как тогда жить, если не правдой? Если спросил – ты подрос и начал забывать детство. У детства нет правды – оно не отгораживается от жизни, мира. Оно живёт по любви и любовью дышит.

Впрочем, обо всём по порядку. И вот тебе моя правда жизни...»

За ужином Дрёма ковырял вилок в тарелке и почти не ел. Мама всё время куда-то отрешённо смотрела, иногда кивая головой Артёму Александровичу делая вид, что слушает. Тот на кого-то жаловался, кому-то грозил. Он и сейчас, за ужином, никак не хотел отпускать день прошедший. Догонял его, хватал за шиворот и сокрушался:

– Время летит, ничего не успеваю. Как белка в колесе. Этот Эдуард Петрович, что выдумал, представляешь... ты слушаешь меня?

– Да-да, Эдуард Петрович, слушаю...

– Решил, что я могу потерпеть. А мне как быть. Если я сдвину график – всё пропало. Понимаешь?

– Да-да, пропало.

– Катастрофа. – Артём Александрович заметил заплаканное лицо приёмного сына. – Хочешь завтра после школы поехать со мной? Покатаемся на яхте.

Дрёма неуверенно пожал плечами.

– Ладно, реши и скажешь завтра утром.

В школе Дрёма ни с кем не разговаривал. Здравовался и шёл дальше. На уроке истории на вопрос о столетней войне ответил:

– Да лучше бы её не было.

Класс рассмеялся. Учительница обиделась, приняв ответ за неуместную шутку. Она строго спросила о датах и вывела в журнале «двойку». Дрёма нисколечко не расстроился. Разве это так важно знать даты войны, куда важнее знать, что и на той войне также погиб чей-то отец. Никто не вспомнит несчастного, ставшего заложником времени и чьих-то амбиций, но будут с воодушевлением вспоминать героического рыцаря зарубившего не одну жизнь. Он герой! А те, кто погиб безвинно? – куски мяса что ли? И безвинно ли, если попали на войну?

Дрёма остановился, так и не дойдя до своей парты:

– Зинаида Сергеевна, можно выйти.

Та возмущённо вздёрнула накрашенные брови под очками и с пророческой интонацией произнесла:

– Хорошо, выйди.

Весна, вопреки обещаниям синоптиков и календаря, распустила бутоны на голых ветках. Горы были в снегу и с высокомерным недоумением взирали на шалости непредсказуемой природы. Как-никак, а конец февраля никак не назовёшь весенним временем. Ах, что вы знаете о времени, о скоротечности, – зябко вздыхали цветы, радуя и тревожа редких прохожих.

Дрёма сидел у окна и читал отцовскую тетрадь.

Отец всегда был с ним откровенен. Дрёма снова вернулся к событиям тех двух дней, когда ему было разрешено увидеться с отцом.

– Кто так решил, папа, что могут запрещать встречаться людям. И тем более детям с родителями!

Папа стал серьёзным.

– В том, что произошло между мной и мамой – не вини никого. Когда такое происходит, виноваты оба. Прости отца, Дрёма.

Тогда Дрёма слушал и недоумевал, оказывается его отец, тот в ком он несколько не сомневался, и кто олицетворял для мальчика начало жизни, всё самое лучшее и доброе, её закон, теперь горько каялся за «праздную никчёмную жизнь». Вот тебе и закон? «Жил будто фейерверк в небе. Сам себя развлекал, пыжился, взрывался. Ба-бах, глядите какой яркий, блистательный, – папа замолчал и уже другим тихим голосом продолжил, – прожигающий деньги, жизнь. Тьфу ты, теперь самому противно, Дрёма. Как себя не весели – тьму, та, что внутри, не разогнать петардами, и страхи в оглушённой тишине уже сами себя начинают пугать».

И что странно, Дрёма тогда почувствовал к отцу особое расположение – он поверил ему: пока не извинишься из угла не выйдешь. От мамы подобных откровений он так ни разу и не услышал, и когда речь заходила об отце, он слышал обиду. Всегда обиду и нежелание простить: папаня твой эгоист ещё тот.

О ком это мама?

Почерк отца был похож на бурелом, и его приходилось преодолевать, страницу за страницей. Преодолевать и думать, зачем я иду куда-то, если, перелистывая страницу, в очередной раз убеждаешься: и впереди одно и то же – бурелом.

Отец и не думал убеждать в обратном. Он не обещал, вот сейчас за очередным завалом откроется широкая панорама полная идиллических куртин и полянок. Этого не будет! Не было и слёзных просьб убеждающих дочитать не бросать и, тем не менее, Дрёма слышал настойчивый, похожий на молитву, отцовский голос в каждом слове, букве: не останавливайся, иди. Несмотря ни на что – иди!

Когда до летних каникул оставались считанные дни, Дрёма осилил первую тетрадь. Чтение напоминало расчистку просеки, отцовский почерк порой превращался в нагромождение из букв, нервного перечёркивания. Дрёма нетерпеливо заглядывал на страницу две вперёд и вздыхал: ох, отец – и там придётся преодолевать. Потом возвращался к прочитанному, будто оглядывался, и становилось радостно и легко на душе – прямая натоптанная широкая дорога. Странно – это вдохновляло и Дрёма, при первой свободной минуте нетерпеливо раскрывал тетрадь на согнутом заранее уголке и снова углублялся в поспешный почерк отца.

Чтение не напоминало Дрёме увлекательное чтение, очередной приключенческий роман. Когда тебя приглашают побыть зрителем, насладиться головокружительным сюжетом, коллизиями, поучительно сокрушают зло неотразимым клинком, заставляют посмеяться над изворотливостью и осуждают хамство... А потом зажигают свет и настойчиво приглашают выйти наружу: прочитали, потешили душеньку, театр закрывается, до свидания.

Отец писал просто, незатейливо. Обыкновенная жизнь родного отца. Жизнь, о которой знает только сам человек. И некоторые факты ему и хотелось бы, наверное, забыть, вычеркнуть, выбелить поэтическим слогом, превратив в героическую эпопею, красивый миф... Нет! Нервный росчерк перечёркивает заманчивое и желаемое: «Сын, я не поддался на искушение и храбро встал на защиту...» Прочь лживое искушение: «Начинал-то я храбро, а потом как всегда. Можно выстоять бой с напирющим хамством и дать отпор мерзости. Можно упиваться чувством собственного достоинства и гордиться беспримерной стойкостью, и хмелеть и уже не замечать упоительного: „и сим воздам!“ И мчаться на лихом коне напоминая бутылку шампанского, которую сейчас разболтает, выдавит пробку, и пенная струя пьянящего адреналина забрызгает всё вокруг. Все герои отличаются внешним эффектом. Внутри они давно проиг-

рали все битвы. Не верь сверкающим напыщенным памятникам. Их нутро прекрасно известно скульптору, но он будет молчать. Иначе лишится заказов и толики собственной славы. Кто же откажется?»

Образ отца возникал над исписанными ломаным почерком листами не призрачно, но живым, во плоти. Образ обладающий силой страстной, неуправляемой, беспощадно-разрушающей – всё ради цели! Образ слабый: я устал, истощился, томление мне имя. И снова силой способной не раздумывая сшибиться с другой подобной силой, рвать и сокрушать, доказывая только своё право на существование. Иногда он побеждал и торжествовал, чтобы тут же терпеть поражение и мстительно зализывать раны. И вдруг он сам превращал эту неуёмную силу в некое подобие «пшика», остатки воздуха вытекающего из цветного шарика: Ради чего всё это?.. На подобный героизм и даже на большее исступление способен зверь. Загнанный в угол он становится самоотверженным, прекрасно-непобедимым, демонически-завораживающим в огнедышащей ярости своей!.. И всё же – зверем. А где человек, человеческое, Дрёма?»

Дрёма вздрогнул и оглянулся. Ему на миг показалось, что совсем рядом и обращается к нему с вопросом живой отец. И ему хотелось беседовать с ним, с живым.

– Не знаю папа? Одно скажу, переворачивая очередной лист, я заново открываю тебя. И это удивительно. Чудесно. Мне хочется читать дальше, и я уже верю, да-да – верю, ты вышел на широкую проторенную дорогу из бурелома исписанных тобою листов! Но как ты такой слабый в себе (и это для меня самое великое открытие в этой тетради) во мне обрёл силу? Не силу старшего над младшим, но большую.

Когда была перевёрнута последняя страница, Дрёма уже не сомневался: тоненькая тетрадь будет совсем другой по содержанию.

Таким бывает едва журчащий по камням родничок.

Дрёме вспомнилась поездка в Саратов. Широкая и полноводная река Волга, изогнутые бесконечно длинные мосты и предупредительный окрик деда: «Не пей из реки, какую-нибудь заразу подхватишь ещё». А из горного родничка они без страха пили с отцом после долгого изнурительного подъёма. Ничто так не утоляло жажды, как тот родничок. Папа тогда спросил: «Разве это, Дрёма, это не вкуснее любой самой сладкой „кока-колы“ или другой газировки?» И он тогда не лукавил с ответом: «Скажешь тоже».

Подходил к концу май месяц. И Дрема решил, вторую тетрадь начнёт, когда будет ходить на пляж и купаться.

Компании он избегал, со сверстниками ему было откровенно скучно. И не потому, что считал себя каким-то особенным. Среди ребят всегда шло непонятное ему соперничество. Все чего-то хотели доказать, петушились и спорили. Дрёма не мог оставаться в стороне, горячо доказывал, отстаивал своё. И в минуты спора ему представлялось важным доказать свою точку зрения. Оставаясь один, подросток недоумевал: и чего спорил, что доказал, кому? Прав был отец: «Свои глаза другому не отдашь, каждый видит своё. А в споре побеждает всегда самый крикливый. Всегда! Осознание приходит позже, и обычно запоздало. Избегай споров, истина проявится сама. Как бы люди не хотели быть „истиной во языке“, кем бы себя ни возомнили, а природы им своей не избежать. С ней можно только полюбовно согласиться и набраться терпения».

Дрёма смотрел в школьное окно. Урок математики никак не звучал в унисон с тем, что происходило за окном. Только что народившаяся листва сочно зеленела на фоне переливающегося искрами моря. Легко и непринуждённо кружили в прозрачном воздухе белые, розовые, персиковые лепестки, застилая богатейшие ковры, там, где недавно ещё было грязно, и грустно смотрели в пасмурное небо лужи. Небо преобразилось. Словно распахнулись невидимые створки – зимнее небо отодвинулось, приподнялось, и колыхнулась синь небес, и сквозь неё угадывались необъятные космические пространства.

Математика если и вписывалась в эту картину, то лишь как частный случай, мазок мастихином.

Быстрее бы каникулы! Звонки сливаются с трелями птиц и вот он долгожданный день. Необыкновенно солнечный и, ожидаемо свободный.

Свободный?

Пашка и Сурен сразу заявили, что будут работать на каникулах. Первому хотелось иметь мопед. Второй мечтал обрести некую «финансовую свободу» от родителей. Другие пребывали в «мучительных» раздумьях, хотелось, и купить чего-то, и «просто пошататься». Праздноопределяющихся было большинство, потребительских искушений не меньше. И тогда возникали вполне философские решения: можно ведь отдыхать – работая, и работать – отдыхая. Курортный город ковал себе будущие кадры, определяя свободу выбора.

Дрёма был рад каникулам и тоже искал в них свою форму свободы.

Прочитанная первая часть отцовского дневника была похожа на волшебный ветер унёсший Алису в Изумрудный город. С одной разницей, вместо города Дрёма оказался посреди штормящего моря. Волшебный ветер, порождённый дневником, правда, снабдил его добротным корпусом, высокой стройной мачтой, крепко скроенным парусом и такелажем и, тем не менее: штормило. И стихия настойчиво требовала: правь или утопишь корабль и себя!

Дневник странным образом заставил отойти Дрёму от сбивающихся в говорливые стайки сверстников. Сделал он это неосознанно, получилось само собой.

Образ отца в дневнике сворачивал и уходил куда-то в сторону от шумной размеченной белой краской трассы, где мимо предупредительных и запрещающих знаков проносились блестящие хромом автомобили. Он писал, что это его путь. Дрёма пытался рассмотреть хотя бы едва видимую тропинку. Напрасно. Отец скорее напоминал мальчику луч света, нёсшийся сквозь тёмные космические пространства, от планеты к планете и только ему одному известным курсом. Луч света сквозь пространства и время.

Знакомые и одноклассники Дрёмы усаживались в родительские машины, в дорогие и не очень, в престижные и в потрёпанных кочками «работяг», и разъезжались кто куда. Кто-то лихо уносился, нарушая правила и подрезая «неудачников», кто-то плёлся у обочины, романтики, те кто вчера зачитывался жюльвернами и фенимормикуперами, прокладывали внедорожные трассы, нещадно утюжа землю и оставляя после себя глубокие колеи и грязь, и всё-таки снова возвращались обратно. Туда где разметка, знаки, асфальт, вой сирен и неизбежно-требовательное: «Ваши права».

Дрёму выручили каникулы. Они волшебным образом перенесли подростка на обочину, подальше от общего потока и предложили подумать.

– Мама я на море купаться!

– Иди, только позвони и к обеду постарайся вернуться.

Дрёма шёл вдоль узкой улочки напоминающей горную теснину с той лишь разницей, что вместо живописных скал покрытых мхами, травами и цветами, улочку сжимали нахрапистые стены. Дрёма представлял себе хозяев возводивших эти разнохарактерные сооружения. Вот эта ограда – удачливый делец, мучимый вечной дилеммой: как показаться людям фигурой значимой, умеющей схватить своё, и в то же время ранимый с желанием отгородиться от завистливых взоров соседей. А вот покосившийся забор он будто жаловался: эх, было время, и мы могли, а теперь что – вон другие напирают. Этот хваткий и энергичный, тут ухватит, там приметит, с мира по камню, мне на стену. Строителей много, а неба над головой всё меньше. Узко.

Извилистая улочка тянулась почти до самого моря. Дрёма пробежал по ней, стараясь не задерживаться, и останавливался в одном единственном месте. Тут между стен образовывался неестественный разрыв шириной в один участок. Деревянный покосившийся штакетник с облупившейся голубой краской приглашал полюбоваться заброшенным садом. Дрёма с мальчишками частенько залазили сюда и лакомились сладкой шелковицей, сочными грушами

и малиной. И сейчас у заборчика цвели одичавшие розы, бордовые и белые бутоны тянулись к солнцу.

Поговаривают здесь жил когда-то старый знахарь. Как жил, никто не знает – лечил бесплатно. Потом на его участок позарился один разбогатевший сосед, предложив: «Продай свой участок». Знахарь категорически отказался: «Бог дал, Бог и приберёт». Нувориш начал судебную тяжбу. Суд вынес прогнозируемое решение: дом судьи с вензелями и кованой оградой заглядывал в окна нувориша. Когда приставы выводили знахаря, чтобы переселить его в мало-семейку, тот заметил торжествующее лицо победителя: «Глянь, какую широкую могилу ты себе приобрёл. Только душе маяться». С тех пор и пустует этот участок – богатый лиходеёй вскоре обанкротился и с сердечным приступом был отвезён в ближайшую больницу. Там и умер. Взрослые взирали на участок со страхом, дети играли и радовались, как радуется узник крохотному окошку, пробитому в каменной кладке.

Такая вот история.

## Глава шестая. Что реальность: вдох, выдох или пауза между ними

\* \* \*

Дрёма, наконец, вырвался из теснины городских улиц и вышел к морю. На раскалённой гальке, разморённые ворочались под солнцем отдыхающие. Дрёма не стал задерживаться, перелез через ржавые прутья. Преодолевав несколько преград в виде наваленных бетонных блоков и бун и оказался в уединённом месте. Курортники, по причине лени, сюда заглядывали редко, а местные только по выходным и опять же одинокие рыбаки и стареющие романтики в поисках тихого плёса.

Дрёма разделся, положил на шорты тетради и с разбега бросился в море. Вода приятно холодила. Он отплыл от берега, поднырнул и проплыл под водой несколько метров. Неподвижное песчаное дно опускалось полого вниз и совсем пропадало, тонуло в сине-зелёной глубине. Было немного жутковато, от сочетания пустынности и колыхающихся на песке теней. Редкие стайки рыбок напоминали Дрёме неземные бесплотные существа, сверкающие чешуёй и слаженностью движений. Может ангелов, случайно залетевших в солнечный лес? Тонкие лучи были похожи на необычные стволы деревьев с кронами где-то над поверхностью. Стайки распадалась и потом снова быстро неуловимым глазом движением соединялись, усиливая впечатление неземного, бессмертного. И страх перед близкой бездной пропадал. Дрёме хотелось подплыть к этим стайкам и вместе с ними, уподобившись им, также беспечно и безмолвно парить в солнечном саду, среди радостных бликов. Если бы не лёгкие. Их сдавливало и приходилось покидать удивительную сказку.

Дрёма вынырнул глубоко вдохнул и поплыл широкими саженками от берега. Снова нырнул. Сказочная идиллия не повторилась. Лучи напоминали теперь вырванные и лишённые корней солнечные деревья. Они беспомощно зависли над бездонной пропастью, прежние краски сгустились, и в них не было прежней прозрачности и света. Полная неопределённость и предчувствие хаоса.

Одно море и такие разные глубины. И жизнь. Бездна притягивает её и пугает: что там и хватит ли воздуха в лёгких? Где в тебе больше откровения жизнь, там где вдох и погружение или там где возвращение и выдох?

Дрёмины мысли были настолько захвачены отцовскими записями, что и теперь он про себя повторял их, тем более что они были так созвучны с мальчишескими ощущениями. Может и отец, вот так же лежал когда-то на поверхности волн, опустив голову в воду, и пытался связать собственную жизнь, и те глубины, что были под ним, и, то бесконечно высокое небо, что выросло из его спины наподобие крыльев, раскрывающихся так же широко и бесконечно.

И где теперь мысли отца, а где его собственные? Отец писал, что он решил вернуть себе детство. Не физическую немощь, но духовное начало – открытое, незлобивое, неагрессивное восприятие мира. Он шёл ко мне, а я рос навстречу к нему. В какой-то миг мы встретились, не так как встречаются двое прохожих, взглянули, оценили и разминулись; но мыслями. Мирощущением. Духом...

Стоп! Кто сейчас говорит во мне? Дрёма прислушался. В ушах знакомо шумело море, похоже на шум в ракушке, только многократно усиленный. Он сгруппировался и принял вертикальное положение. Над головой, совсем низко пролетела чайка и с любопытством посмотрела на купальщика. Он проводил птицу взглядом и решил возвращаться.

Неожиданно налетевший ветер поднял лёгкую зыбь на воде. Берег медленно приближался...

Чужой берег. Незнакомый!

Дрёма покрутил головой, сердце учащённо забилося – он не узнавал место. Ни пляжа с железнодорожным мостом, ни ржавого забора, ни прежних нагромождений железобетонных конструкций и буны словно утонули под водой, ничто не напоминало ему тот пляж, на который он вышел по узкой захлавленной улочке. Дрёма даже перестал грести руками и ногами. Вместо насыпи – дикие камни и кипарисы, дальше начинался пригорок, покрытый густыми зарослями, они – заросли – будто поглотили всё, что было построено и нагрождено человеком. Город с его привычными ломанными очертаниями – исчез! Исчезли не только частные дома. Начисто пропали пятиэтажки и, что совсем невероятно, – высотки. Те самые высотки, что ещё недавно вознеслись под облака и кичливо взирающие оттуда и на город и на горы.

Дрёма хлебнул морскую воду и закашлялся, событие настолько поразило его, что он начал незамедлительно погружаться в воду. И лишь инстинкт самосохранения заставил его быстро опомниться и, что есть сил, грести к берегу. Он задыхался и кашлял. Красивый кроль, которым он не раз хвалился перед сверстниками, теперь напоминал судорожные движения новичка.

Вот и дно. Подросток быстро выбежал на пляж и затравленно начал оглядываться вокруг. Заметался. Быстро, задыхаясь, пробежал в одну сторону, потом, так же быстро и спотыкаясь, в другую.

Остановился, широко раскрытыми глазами глядя на кипарисы и древние дубы. Так смотрят на нечто совсем поразительное, выходящее за рамки понимания и здравого смысла: я вижу, я ощущаю, я пытаюсь осознать, но мой разум отказывается воспринимать увиденное и воспринятое собственными чувствами.

Нескладное тело неожиданно, несмотря на то, что солнце продолжало нещадно палить, задрожало в ознобе. Дрёма прижал локти к животу, и скорчился на камнях, будто его скрутило болью в животе, и взгляд был соответствующий: страдающий.

– Где я!? Что со мной?..

Он заплакал, заплакал навзрыд. Его тело конвульсивно сотрясалось, а голова болталась, так что со стороны можно было испугаться: как бы не оторвалась совсем. Из гортани сами собой вылетали членораздельные звуки:

– Что это?.. Что со мной?.. Где я?.. Папа... Мама...

И снова:

– Что это? Что со мной...

Вскоре истерика утихла, исчерпав невидимые резервы организма. Дрёма сидел неподвижно и не моргая, нервное движение груди выдавало в нём жизнь и подсказывало: вы ошиблись – я вовсе не скульптура гениального творца, я живой.

Солнце было в зените. Первыми это ощутили плечи мальчика. Они нетерпеливо заёрзали под кожей, ладони пытались спасти их и только усилили неприятные ощущения.

Дрёма вскочил и бросился к воде. Уже вбежав по щиколотку, он словно сумасшедший споткнулся об воду, хватаясь за воздух руками, беспомощно шлёпнулся в воду. Тут же вскочил в полный рост и выскочил на берег. Не выбирая дороги, смешно приседая, когда острые камни впивались в стопу он, тем не менее, добежал до того места где лежали его вещи, небрежно брошенные на гальку. Сверху лежала тетради.

– Что же происходит? Вот же вещи! Мои вещи! Где люди?.. Пляж?.. Железная дорога где?.. Куда пропал целый город!..

На глазах снова навернулись слёзы. Они застлали незнакомую местность, и хоть на минуту примирили его с ней.

– Что теперь делать? Скажите мне, что дела-ать!..

То ли солнце высушило слёзы, то ли хранилище слёз иссякло, но плакать он перестал. Глаза часто заморгали, пытаясь таким образом выдавить хотя бы ещё одну слезу и, соглашаясь с тщетностью попыток, застыли уставившись в точку, выражая таким образом своеобразный

протест против взбунтовавшейся реальности: я отказываюсь понимать! С тем же выражением на лице он начал машинально одеваться, путаясь в вещах и в предназначении рукавов и воротника. Тут до него донёлся слабый побрякивающий звук. Он прекратил одеваться и прислушался, звук повторился.

– Эге-гей! Кто-нибудь!

Схватив тетради, Дрёма бросился на звук, продевая на ходу руки в рукава.

По высокой высохшей траве шла девочка примерно одного с ним возраста. Она обернулась на крик и остановилась. Дрёма бежал как оголтелый, почему-то вприпрыжку и размахивая одной рукой над головой беспрестанно выкрикивая:

– Девочка! Девочка!

Девочка понаблюдала и, не выдержав, фыркнула подлетевшему «кавалеристу».

– Ну, девочка. И что дальше?

– Дево...

Дрёма, не договорив, остановился, как вкопанный, с широко открытым ртом. Незнакомка, продолжая улыбаться, прищурено оглядывая нескладную фигуру:

– Чего бегаешь-то? Людей пугаешь? Так разве можно себя вести?

– Я... А ты чего!

– Чего, «чего»?

Дрёма вытянул руки и, ничего не говоря, красноречиво указал на многочисленные странные украшения, которыми девочка была обвешана с ног до головы. Среди сверстников он уже привык ко всяким странностям, и к серёжкам в ушах мальчишек и к пирсингу, и прочим причудам своего времени, но, то, что увидел теперь, всё-таки заставило удивиться. Незнакомка, в свою очередь, с не меньшим интересом рассматривала Дрёму, прикрыв глаза от слепящего солнца.

– Странная ты какая-то. Откуда?

– Это ты странный. Носишься тут, орёшь как сумасшедший. И к тому же, – девочка резко вскинула руки над головой и жестом, выражающим полное несогласие с внешним видом чужака, закончила фразу, – ни единого *Я!* Ну даже самого обыкновенного *Ярода*, и того нет! Ты кто? Откуда? Ты же не ожившая коряга?

Дрёма выслушивал девчоночьи глупости не произнеся ни слова в ответ и продолжал беззастенчиво пялиться на неё. Зрелище для него более чем странное. Негр, обвешанный с ног до головы бусами и прочими ракушками, вызвал бы в нём меньший протест. Ему, если честно, стало бы намного легче – ах, так я попал в Африку. Каким образом, это уже второй вопрос. А тут обыкновенная девчонка, он присмотрелся: у них в классе есть похожая – Люська Ветрова. Точно! И платье? Ну и пускай несколько старомодное, эти девчонки готовы моду менять чуть ли не каждый месяц. Но зачем, зачем она обвешалась так украшениями. Не то, что бы некрасиво – неудобно! Тяжело, в конце концов, таскать на себе столько металла! Можно подумать что какой-то ювелир перепутал размеры и начал отливать украшения многократно увеличенные. Например, шею девочки «украшало» выпуклое кольцо толщиной не менее двух пальцев, к кольцу умело была припаяна длинная цепь, свисающая почти до земли и оканчивающаяся массивным шаром с кулак взрослого мужчины. Шею кроме того обременяла цепь до пояса, на которой висел брелок в виде двух скрещивающихся латинских букв «V». Они накладывались так, что отдалённо напоминали другую латинскую букву «X». Пальцы, кисти и локти «металлистки» украшали ещё с дюжину колечек, цепочек и брелоков. Украшали – это ещё вопрос.

Девочка смутилась под таким пристальным взглядом, и грубо спросила:

– Ты чего уставился?

И когда ей не ответили, повторила:

– Я тебе говорю, оглох что ли?

Тон девочки возымел своё действие: Дрёма отвлёкся от созерцания и смутился:

– А? Чего... Ну да – кричал.

– Ты что перегрелся на солнце – ведёшь себя как-то чудно.

– Я понимаю... я потерялся. Совсем потерялся. А тут ещё ты...

Дрёма отвернулся, ему не хотелось, чтобы эта девчонка видела, как он плачет.

На незнакомку, наоборот, слёзы этого странного паренька произвели обратное действие.

Ей стало жалко его и, при всей несуразности его внешнего вида, он располагал к себе.

– Не расстраивайся так сильно, что-нибудь придумаем, – и неожиданно для себя самой она подошла к нему и погладила по плечу.

Дрёма сразу успокоился. Вытер глаза и улыбнулся:

– Да. Меня зовут Дрёма.

– Дрёма? Странное имя, – улыбнулась в ответ девочка, – а меня Надя.

– Тоже странное имя.

И они рассмеялись вместе.

– Слушай Надя, а что это на тебе такое?

– Это? *Я*.

– Нет, я знаю, что ты – это ты. Я спрашиваю об этих кольцах, цепях и... кандалах.

– Сам ты «кандалах». Я же тебе объясняю – это мои *Я*.

– *Я?* – он перестал улыбаться, – как *Я*?!

Видимо его взгляд был настолько выразительным, а вид ошарашенным, что заставило и Надю стать серьёзной.

– Ты очень странный, – она строго оглядела Дрёму. – Значит, говоришь, потерялся. Так, так. А как потерялся? Расскажи.

– Да я и сам толком не пойму.

И Дрёма вкратце поведал Наде всю свою историю, начиная от дороги на пляж. Надя слушала внимательно, иногда удивлённо произнося:

– Тут город? Буны?

И оглядывалась вокруг, будто пыталась представить себе здесь и «город» и «буны». Пожимала плечами и продолжала слушать.

– Да, Дрёма, в такое трудно поверить. Признаюсь, – Надя сжала губы, – я пытаюсь. Получается не очень. Одно убеждает – твоя одежда и то, что ты не носишь *Я*. Совсем не носишь – нездешний. Удивительно.

Дрёма располагал к себе. Он не рисовался как многие её знакомые и одноклассники. Вёл себя просто. Ну и пусть у него нет *Я* – обретёт. И тут Надю озарило:

– По-моему я знаю кто ты?

– Кто же?

– Ты *чужой*.

– Чужой? Это как? – Дрёма опешил от такого вывода. – И что теперь?

Мальчик насторожился в слове «чужой» слышалось некоторое отторжение.

– Не совсем *чужой*. О других я слышала и мы изучали по географии, о тех, что живут за рубежом. Там у них тоже есть *Я*. Только форма несколько иная. Смешно, представляешь, *Ярод* у них бывает, и квадратным, и словно морской ёж – колючим. Неудобно ведь! Круглый куда удобней... Правда? – Надя махнула рукой, – нашла, у кого спрашивать, – и тут же продолжила, – а цепочки овальные и даже закрученные. Хм.

Надя замолчала. Молчал и Дрёма стараясь понять и не понимая – она совсем не шутила.

– Так, где же я? И чужой?

– Не расстраивайся так. Мне папа рассказывал. Есть такие *чужие*, которые, вроде как и не *чужие* совсем. Ну, ты понимаешь!

– Не совсем.

– Тяжело с тобой, – Надя отчаянно всплеснула руками, – папа их ещё чудаками назвал. Мол, имеются такие, кто *Я* не носит. Как так можно!?

– Чудаки? Знаешь, моего папу иногда называли чудаком. Редко, правда. Чаще крутили пальцем у виска... Папы больше нет.



– Ну, ну не расстраивайся так.

Надя смотрела на опущенную голову, и ей стало жалко Дрёму:

– У нас *чужих* принимают. Получишь *Ячу* и всё. Делов-то. Мне слово *чужой*, если честно, тоже не нравится. Но людям так проще: кто не похож на них – значит *чужой*. Так проще жить. Понял?

– Чужой, так чужой – ничего не поделаешь, – вяло улыбнулся Дрёма, – хотя по мне так уж лучше чудака, только без пальца у виска, – поспешно добавил он.

Надя обрадовано хлопнула в ладоши. Она была довольна собой, что нашла формулу примирения Дрёмы с местными.

– А чудакам, папа говорит, трудно в жизни. *Чужой*, глядишь, и своим стать может. А что?

Дрёма слушал Надю и потихоньку примирялся с новой реальностью. Люди везде похожи. То, что приключилось с ним, хоть и необыкновенно, но «раз произошло – примиришься и душе спокойнее и разум ясен». Будем обживаться.

– Что дальше, Надя?

– Дальше? – девочка замялась, – а дальше пойдём ко мне. Я так понимаю, у вас тут своего дома нет, – шутиливо развела она руками.

Дрёма повторил её жест.

– Вот. Я всё объясню маме. Она добрая – поймёт, и на первое время останешься у нас. Потом... потом из города приедет папа, он у меня знаешь какой умный, вот, значит. Думаю, он найдёт решение и твоей задачи.

– Хорошо бы. К вам как-то неудобно идти. Никто меня не знает, и тут: нате вам, здарсьте!

– Можешь оставаться здесь, посреди пляжа. А я пошла. Тоже вариант.

– Хорошо, я с тобой.

– Вот и прекрасно.

Заметив с какой поразительной ловкостью управляется Надя со всеми своими цепочками и «кандалами» Дрёма не выдержал и спросил:

– И всё-таки, мне непонятно, зачем вы таскаете такую неудобную тяжесть? Можно хотя бы уменьшить их.

– Как говорят нам учителя и старшие: «*Я* должно весить, чтобы чувствовать». А неудобства... какие неудобства?

Девочка прошла несколько шагов, остановилась и, нахмутив лоб, обратилась к Дрёме:

– И будет лучше при взрослых, и не только, не упоминать о тяжести и неудобстве *Я*. Если честно, то и мне неприятно, – и она с какой-то нежностью погладила многочисленные свои *Я*. – Ладно, прощаю, – заметив сконфуженный вид мальчика, весело рассмеялась Надя, – прощаю, прощаю. – Покровительственно хлопнула она его по плечу.

Сделав несколько шагов по грунтовой дорожке она снова остановилась:

– Давай-ка я лучше расскажу тебе, что значит *Я* для всех нас – *прикованных*.

Дрёма не сдержался:

– При-ко-ва-нных!

Весь вид и взгляд Нади был более чем красноречивы: не трогай святое!

– Умолкаю и слушаю.

– И правильно сделаешь.

Надя была хорошей рассказчицей. И вскоре Дрёма узнал, что жителей называют *прикованными*, потому что, и сама страна называется *Прикованная*. А всевозможные *Ярод*, *Яим*, *Явирт*, *Ясан*, *Яраб*, *Яжив* и прочие *Я*, служили здесь тому же, чему служат в его мире паспорта, флаги, гербы, прописки, погоны, кокарды, удостоверения, мантии, сутаны и прочие условности необходимые для персонификации и водворения тебя, как личности на отведённое место. Так же он уяснил: само кольцо называется *Я*, а цепочка и «брелок» конкретизируют название, например: *Ярод*.

Когда Дрёма начал дёргать девочку за всевозможные цепочки и смеяться над нелепостью этого «железного хлама», то встретил неожиданный и жёсткий отпор:

– Да иди ты!..

Девочка демонстративно зашагала дальше, надув губы, потом обернулась и добавила:

– Куда хочешь, понял!

– Извини. Я поступил глупо. Да и как я могу надсмехаться, когда и наш мир устроен практически так же. Смешно и нелепо.

– У вас может смешно и нелепо, – примирительная улыбка озарила лицо девочки, – а вот мы – *прикованные* – не жалуемся и даже гордимся приобретением каждого *Я*. Уяснил горешутник.

– Уяснил.

– Прощаю, – подражая важным персонам, произнесла Надя и захлопала в ладоши.

А хлопают здесь так же, как у нас, с одной разницей: цепочки позвякивают.

Мир был восстановлен.

– А что обозначает вот этот... *Я*?

Дрёма указал на локтевой сгиб левой руки, там находилось кольцо с длиной цепочкой и брелок в виде раскрытой книги.

– Это? *Яим*. Он говорит, что я учусь в гимназии, куда переходят после пятого класса. Малолетки учатся в школе и носят *Я* поменьше – *Яшкол*, в форме ручки...

За поворотом тропинки послышалось громкое позвякивание. Кто-то откашливался.

## Глава седьмая. Прикованная

\* \* \*

- Там кто-то есть, – насторожился Дрёма.
- Там пост стражи. Да не бойся ты. Идём.
- Но я чужой.
- Идем же, окольцуешься и делов-то.
- Окольцуешься?!

Подросток остановился как вкопанный. Он вспомнил, как окольцовывают перелётных птиц. Ему совсем не хотелось беспомощно трепыхаться в чьих-то руках.

– Идем же. Навязался на мою голову. Окольцевание – это процедура такая. Ничего страшного. Я много раз проходила, и, как видишь, до сих пор хожу.

Дрёма набрал побольше воздуха в лёгкие и мотнул головой:

– Идём.

Миновав огромный ветвистый дуб, росший прямо на повороте они упёрлись в четырёх одинаково одетых мужчин. Форма (а это была форма) в которую были облаченные стражники, напомнила Дрёме картинки из учебника по истории. Длинные камзолы, воротники стоечки и головной убор в виде таблетки с козырьком. Мальчик приготовился лицезреть «металлистов», но, увидав четырёх стражников, не смог сдержаться и разинул рот. Надя на их фоне выглядела блекло. Дрёме они напоминали, то новогоднюю ёлку, то героев супербоевика обвешенных пулемётными лентами и гранатами. Но больше всего его поразила цепь, которой стражники были скованы между собой. Цепь волочилась за ними в пыли, издавая глухое дребезжание. Это ж надо, – только и подумал он.

– Стоять! Кто вы? Куда?

– Я из Видного. Вот мой *Яжив*.

– Так с тобой ясно – *слепая* из Видного, – старший страж с красным пером на головном уборе, внимательно рассмотрел *Я* на девочке. А вот с этим...

– Он *чужой*, но он со мной, – поспешила Надя на выручку ошарашенному видом стражников Дрёме.

– *Чужой*, говоришь, что-то не заметно.

Дрёме интересовала одна единственная мысль: от этих «скованных одной цепью» можно убежать? Наблюдая за ловкими манёврами четвёрки, он засомневался.

– Отвечай, откуда ты?

– Вы знаете, – вперёд вышла Надя, прикрывая собой Дрёму, – я встретила его на берегу моря. Вид у него был, я вам скажу, ну просто потерянный. Мне кажется, он участник какой-то морской катастрофы и его выкинуло к нам на берег. Взгляните, он до сих пор не может прийти в себя. Бедненький. Дар речи потерял.

– Дар, даром, а непорядок. Следует задержать до выяснения.

– Да вы его *Ячу* окольцуйте. Он у нас поселится. Так мы завтра же в администрацию *Яжив* получать. Они заметят *Ячу* и сами справки наведут. Такой порядок у нас. Я знаю.

– Шустрая однако, – старший страж одобрительно ухмыльнулся. Потом обернулся к подчинённому, – страж! Исполнить процедуру номер триста пятьдесят с неокольцованным объектом.

– Во имя Вирта! – отчеканил страж и быстро подошёл к Дрёме.

Тот весь напрягся, успокоила Надя:

– Ничего страшного. Совсем простенькая процедурка, у нас её все проходят, чик и всё.

В следующую минуту страж привычным движением пристегнул к запястью мальчика браслет с короткой цепочкой и брелоком размером с грецкий орех. На миг Дрёме показалось, что ему снится дурной сон, как сквозь туман он видел склонённого перед ним стража. Вот он выпрямился, чётко повернулся к старшему и браво отрапортовал. Старший напыщенно выслушал, наклонился к нему и стал поздравлять. Голос был ватным. Слова растянутыми. Особенно запомнились последние:

– ... вечных цепей вам!

Прозвучало это примерно так же, как в его мире произносят: «Всех благ вам!»

Дрёма потерянно брёл за Надей, не отрывая взгляда от «украшения».

– Что нравится? Новенькое *Ячу*.

– А?.. Что?.. Да, новенькое. Похоже на детские кандалычки. Что я сделал им плохого?

– Глупый. Вот ты и стал частью этого мира. Нам часто повторяют учителя: «... цепи символизируют неразрывную связь прошлого и будущего через настоящее». Во как – запомнила. Кем ты был там на пляже? Да никем. Вообще никем. И даже не *чужим*. А теперь у тебя собственное *Я*.

– Да, спасибо тебе. Без тебя беда просто. И что бы я делал без тебя.

– Да не я, а *Я*, – девочка красноречиво взяла Дрёму за плечо и подняла *Ячу* к его глазам, – понял теперь.

Дрёма грустно смотрел на браслет и цепочку.

– Понял, я – это *Я*. Куда уж проще.

– Умница! А то, что непривычно – привыкнешь. Видишь, – Надя в свою очередь подняла свои руки, – я их даже не замечаю, будто они неотъемлемая часть моего тела. И ты также, – авторитетно заключила она.

– Угу. На фоне тебя мне грех жаловаться.

Надя остановилась.

– Пойми, – попыталась она взывать к разуму, *Я* – это жизнь. Это то, без чего жить просто невозможно. Пропустила бы нас сейчас стража, не будь у меня *Яжив* и *Ярод*? Да любой, взглянув на меня, сразу скажет: она одна из нас, ей можно доверять.

– А не будь стражи?

– Не будь стражи?.. А куда бы они делись, что у вас стражи, что ли нет?!

– Не..., – Дрёме захотелось поразить девочку другой реальностью, и вдруг осекся, он вспомнил как много людей в форме в его мире и какой властью они обладают, – есть.

– Так я и думала! А иначе как жить? Пойдём.

Какое-то время они шли молча.

– А всё-таки ты молодец.

– Почему?

– Ну, знаешь, если бы я очутилась в подобной ситуации, я бы сразу умерла от страха. Да что я, любой взрослый. Практически голый и на чужом берегу... Бр-р ужас!

– Папа говорил: «Терпение это шаг к мудрости, а для мудрости мир – открытая книга...», – Дрёма впервые улыбнулся.

– И меня папа такой, как скажет, стоишь потом и соображаешь: о чём это он?

Впереди забрезжило. И вскоре они вышли к посёлку, где жила Надя.

– Вот и наш Видный. Ну как тебе?

Спросила, заметив удивлённый взгляд Дрёмы.

– Я будто и не покидал нашу узкую улочку. С той лишь разницей, – Дрёма окинул взглядом раскинувшийся перед ним посёлок, – да практически никакой: ограды, заборы, стены и тут главные, общие улочки сохраняются для прохода. Только... только такое впечатление, что у вас так было всегда, а у нас только начинают городить.

– Всё зависит от того или иного *Я*. И высота стен, и широта дворов.

Посёлок Видный являл собой кусок лунной поверхности, сплошь покрытый кратерами-дворами. Были тут кратеры высокие и низкие, широкие и тесные. В каждом кратере пряталась крыша, и виднелись верхушки деревьев. Этакая обжитая Луна.

Они быстро проследовали по узким улочкам, где едва могла развезаться конная упряжь. Встречались и совсем узкие, нечто вроде тропинки между заборами, чаще всего они были захлаплены. На одной из таких улочек, зажав нос, Дрёма нырнул вслед за Надей в узкую калитку и очутился в небольшом, но весьма уютном садике. Среди деревьев прятался небольшой побелённый домик с мансардой.

– Ух, ты!

– Хорошо, правда!

– Спрашиваешь.

Контраст с улицей впечатлял.

– Вот и я люблю свой дом и садик. Мама, ты дома, у нас гости! – Крикнула Надя, подходя к невысокому крыльцу.

Послышались лёгкие шаги, и под стрельчатый навес над крыльцом вышла милостивая слегка полная женщина, средних лет и среднего роста.

– Что, стрекоза, пришла, – звякнула она цепями. Тут она заметила Дрёму и остановилась. – Здравствуйте. Вы не местный?

Дрёма поздоровался и смущённо замолчал.

Как всегда выручила говорливая Надя:

– Понимаешь мама...

И она начала сбивчиво пересказывать все подробности их встречи с Дрёмой. Не преминув упомянуть о своей версии появления подростка в *Прикованной*. Мама недоверчиво слушала, иногда бросая косые внимательные взгляды на Дрёму.

– Так, так... значит из ниоткуда, – мама вздохнула, – у нас пожить...

Было видно, женщина пребывает в растерянности и пытается найти бесконфликтный выход.

– Ну, Надя, ты как чего-нибудь отчебучишь. Хоть стой, хоть падай. И когда ты повзрослеешь? И как ты себе всё это представляешь?

– У нас имеется же комната для гостей? Поживёт до приезда папы, а там вместе и решим.

– Комната? Может папин брат, дядя Сергей приехать. Может? – Мама Нади укоризненно покачала головой, но упоминание о приезде мужа было как нельзя кстати. Она уже решила уступить дочери.

– Зачем из-за меня ругаться? Я не напрашивался – Надя сама предложила. Я пойду.

– И Дрёма уже было направился к выходу.

– А вы с норовом, молодой человек, постоитте. Куда вы? – Мама едва заметно усмехнулась (парень был не из наглецов и это располагало). Интересно, а как ваша мама бы прореагировала на подобную ситуацию, а? Вот то-то и оно. Я думаю, оставайся до приезда Владимира, а там видно будет.

– Мама! Какая ты у меня умница!

Надя повисла на шее матери.

– Ох, стрекоза ты, стрекоза. Проголодались, небось? Мойте руки и к столу. Надя помоги мне.

Дрёма присел на лавку у стола и упёр тяжёлую голову в ладони. Что-то тяжёлое глухо ударило о струганные доски. *Ячу*, – он проследил подкатившийся к локтю металлический «орех». – Чужой. Может все это сон. Чересчур явный, вон и руку слегка натёрло. Что же произошло? Куда я попал и как? Тут всё реальное, реальней некуда, и Надя, и мама, и даже те стражи. Призрак не может так клепать. *Прикованная*, – мальчик проследил за порхающей бабочкой, – надо же – как у нас порхает, а ни в одном учебнике, ни по истории, ни по географии

я о такой стране не читал. Бабочки порхают, я дышу, как и прежде, но, ни города моего, ни людей которых я знал. Так, будто в театре. Герой остался, а декорации заменили, людей? Вот где закавыка. А что? – актёров переодели, а сами люди – не актёры – как были, так и остались. И разговаривают и ведут себя узнаваемо. Не инопланетяне – это точно.

\* \* \*

В этом мире сумерки наступали несколько раньше – высокие глухие заборы проглатывали солнце ещё до того, как оно успевало доползти до горизонта. Верхушки деревьев продолжали радоваться солнечным лучам, а трава, кусты и люди приготавливались ко сну. Тускнели.

– Так, дочка, иди постели гостю в гостиной. Видишь, у Дрёмы совсем глаза слипаются!

А Дрёме действительно очень хотелось спать. Причиной этого были и необычные события уходящего дня, и ужин, и сгущающиеся тени.

Через некоторое время он блаженно вытянул ноющее тело на мягкой постели. Поёрзав, стараясь приловчиться к *Ячу*, он, наконец, принял удобную позу и замер. Голова гудела, словно туго натянутый барабан, среди сплошного гула метались обрывки мыслей, и не находя своей законченности сталкивались друг с другом в бесформенный ком. А ещё через пару минут он уже спал крепким сном.

Он был зрителем необычного карнавала, участниками которого выступали те, кто остался в том, исчезнувшем мире. Музыки он не слышал, но движения героев явно подчинялись мелодии. А так как это был необычный карнавал, то каждый слышал только его любимые звуки и ритмы, что создавало впечатление хаотичности и суеты.

Вот мама в чёрно-белом бальном платье, плавно и очень красиво кружась, приблизилась к нему. Её глаза смотрели нежно и участливо. «Сынок, ты куда пропал? Я приготовила твои любимые пельмени, пора кушать!» – Она замерла перед ним белой стороной платья. «Мама, я не хочу кушать. У меня жажда. Я хочу пить». Мама изящным движением сделала ещё оборот, и теперь Дрёма видел сразу два цвета воздушного платья. «Нет, сначала покушай, а потом будешь пить. Этот мир любит свои порядки». «Ну, мама...» Платье снова стало белым, что придавало лицу мамы снежную чистоту. «Дрёма, я хочу, чтобы ты вырос и нашёл своё место под солнцем. А для этого нужно хорошо учиться и быть послушным». Наверное, грозовая туча, подумал Дрёма – лицо мамы потемнело. Он поднял голову, светило яркое солнце. Удивлённый, он снова взглянул на маму. Платье было чёрным. Она глядела куда-то в сторону. Дрёма тоже оглянулся. К ним, в костюме кота, грациозно скользил отчим. У Дрёмы даже глаза полезли на лоб – настолько необычным было это зрелище. Кот, что-то мурлыча себе под нос, подошёл к маме. «Жизнь похожа на праздник. Вечером весело, утром не хочется просыпаться. Вывод – нужно как можно дольше продлевать вечерние часы» – и он довольно заулыбался. «Точно кот на солнце» – улыбнулся сравнению Дрёма. Заулыбалась чему-то своему и мама. Семейную идиллию разрушила чистая случайность.

Дело в том, что всё это время, пока длилась описываемая сцена, вокруг кипел и бурлил карнавал. В масках и без масок, в колпаках клоунов и в строгих смокингах, наряженные книжными героями, строгие и весёлые, крикливые и не очень, – сплошным потоком мелькали вокруг лица участников сновидения. Многие из них были знакомы Дрёме. Эта бесшабашная жизнь-река, толкаясь в спину, пыталась сорвать с места всё, что не вписывалось в жизнерадостный поток. Конечно, она не могла, по своей природе, остаться безучастной к троице, мешающей общему движению.

«Осторожней! – взвыл отчим, – мой хвост! Вы оторвали мой хвост!» – Отчим сорвался с места и, увлекая за собой маму, исчез в пёстрой толпе. До Дрёмы некоторое время доносились возмущённые крики отчима, пока их не поглотили шорохи многочисленных шагов. Перед ним последним застывшим воспоминанием, стояло растерянное лицо мамы. В нём читалась молитва, надежда, печаль...

И тут раздался ужасный грохот, люди в панике стали разбегаться, кто-то сильно дёрнул за руку...

Дрёма проснулся, сразу осознавая причину странного грохота – *Ячу* упало на пол, пробуждая и прогоняя сумбурный сон. Какое-то время он смотрел на странный предмет, не связывая его с собой, а потом досадливо поднял его и положил рядом, ощущая холодное и неприятное прикосновение металла.

«И сон странный, и пробуждение глупое» – резюмировал мальчик, глядя на деревянные потолочные балки и простенькие шторы на окне. Лежать не хотелось, и он вскочил с постели.

– А, соня! Проснулся! – приветствовала его появление Надя. – Да, поспать ты мастак. Ладушки, иди умывайся, и будем завтракать.

Дрёма, недоумевая, слушал девочку. Он помнил, что произошло вчера, но никак не хотел пускать это «вчера» в день сегодняшний.

– Надя!?

– А кто же ещё. Ты что, не проснулся до сих пор! Знаешь, сколько ты спал.

– Сколько? – спросил скорее машинально, чем заинтересованно.

– Да без малого часов двенадцать.

– Ага, – пытаясь пристроить непослушную цепь, пробубнил Дрёма и направился к умывальнику.

День был чудесный. Ярко и тепло светило солнце. На небе не было ни одного облачка. Дрёма, уже внутренне согласившийся с неизбежными переменами в жизни, и Надя, непринуждённо болтая, выскочили на улицу и направились к центру посёлка.

Центром посёлка называлась небольшая площадь, со всех сторон зажатая высокой оградой, к площади примыкали здание «стражи», гимназия, в которой училась Надя, какие-то шумные мастерские и магазинчики.

Во дворе гимназии росло три кипариса, две пальмы и один платан, вносящие некоторое разнообразие в тоскливую архитектуру центра. Под деревьями беспечно играли дети, всегда остающиеся самими собой в любые эпохи, невзирая на изменчивые миры. Пройдёт время, и мир поглотит их бесхитростные игры, где обиды недолговечны, а ссоры не кровопролитны. Это будет, а сейчас, ловко подхватив звякающие цепи, они бегали, кричали и радовались новому дню. Надя направилась к ним, за нею, несколько робея, пошёл Дрёма.

Столпившаяся ребятня с интересом разглядывала странного новичка. Но, быстро усвоив ответы на бесхитростные вопросы, среди которых самым трудным был: «...ну ты же не мог появиться из ниоткуда? Все откуда-то», – они просто пригласили Дрёму играть вместе. На что тот сразу же согласился, тайно надеясь быстро обставить скованных цепями «тихоходов».

Тайные надежды, как ни странно, не оправдались. Дети *Прикованной* будто не замечали явных помех, мешающих им в игре. Дрёме пришлось приложить немало усилий, доказывая, что и *чужие* не лыком шиты. «Надо же, они не замечают своих многочисленных *Я*, мне же приходится постоянно вспоминать об одном единственном *Ячу*, то натирающим руку, то больно бьющим по ногам» – искренне удивлялся он.

Если не считать нескольких безобидных стычек, вызванных перипетиями игры и тут же быстро забываемые и прощаемые, то день для Дрёмы пролетел весело и быстро. Возможно, он и был для мальчишек и девчонок *чужим*, и то – только благодаря наличию бездушной железки, выкованной руками взрослого кузнеца...

Все последующие дни проходили в играх, шалостях и развлечениях, таких схожих и здесь, и там... в том мире. Он гонял тряпичный мяч (удививший его только вначале), прятался в «звоннице» (горячо доказывая, что это совсем не «звонница» – а обыкновенные прятки; только дома туки-та, а здесь нужно было ударить *Я* о другой металлический предмет), и с трудом соглашался быть *чужим*, когда играли в «войнушку».

– Дрёма, лови! Эх ты, растяпа!

- Да ладно, с кем не бывает.
- Да не ладно, – с досадой, – проигрываем!
- Ничего, догоним!
- Ага, давай догоняй!

Каникулы – как каникулы, и у нас, и здесь, – думал Дрёма, вытирая со лба пот. – Это надо же так ловко бегать!

– Ну что – выдохся? – подошел вспотевший Лёшка и присел рядом.

– Да, устал маленько. Вы классно бегаєте. Слушай, а это что за *Я*? – Дрёма взял в руку свисавший с запястья маленький брелочек в форме руки.

– *Яхо*.

– Ты же знаешь, что я не местный. – Дрёма ухмыльнулся.

– Он собирает марки. – За хозяина брелка ответила подошедшая Надя.

– А его обязательно носить?

– Хм, да вроде, нет, я сам так захотел, – Алексей пожал плечами, как бы говоря: глупый вопрос.

– Нет, Дрёма. *Ярод*, *Яжив* или *Явер* мы носим все, некоторые с рождения. Взрослые носят: *Яраб*, *Ячин*, *Яс*, у школьников свои *Я*. – Надя с серьезным видом сопровождала объяснение показом своего набора брелков, если они отсутствовали, то она, вздыхая с сожалением, указывала то место, которое они когда-нибудь займут.

Дрёма делал вид, что внимательно слушает, а сам про себя не мог расстаться с удивлением: зачем всё это? И больше всего поражало отношение жителей этого странного мира к «никчёмным железкам». Они почитали их и желали приобретения неудобного «хлама». Ему казалось, что местные законы появились позже странного желания – иметь *Я*, они просто констатировали факт. Странное дело, – думал он, – я удивляюсь, но мне кажется, что где-то в глубине самого себя я готов принять эту несуразицу и даже ужиться с ней! Я же собираю значки и горжусь своей коллекцией. И всё моё отличие от Лёшки состоит в наличии или отсутствии *Яхо*. Но разве мне не хочется кричать о том, что в чём-то я лучше и чем-то отличаюсь от других?!

– Дрёма, будешь с нами играть!?

– А то.

Новый мир открывался перед ним так же, как открывается картина – под разными углами зрения и освещением. Но самое большое и неприятное открытие произошло как-то вечером за чашкой чая.

– Как слепая!?! Вы же всё видите! – Он смотрел на маму Нади и никак не мог понять, о чём идёт речь.

Был раскованный день (выходной, когда допускалось снять некоторые *Я*), они втроём (мама, Надя и Дрёма) сидели в тени шелестящих яблонь и пили молоко со свежеспеченным хлебом.

– Дрёма, – мама весело рассмеялась вместе с дочкой. Ей начинала нравиться непосредственность и искренность этого мальчика, и она, все больше и больше проникалась к нему доверием и сочувствием. – Пора бы уже привыкнуть, что ты не там у себя, а здесь среди нас.

– А что, вы разве другие! И слепота у вас другая? – Он, недоумевающий, продолжал смотреть на заливающуюся смехом женщину и девочку.

– *Слепые* – не искалеченные люди. Посмотри на меня – я здоровая женщина, разве можно по моему виду сказать, что я калека?

– Нет, конечно – что вы, – с чувством откликнулся мальчик.

– Спасибо, спасибо. *Слепые*... как же тебе объяснить, – мама явно не знала, как рассказать ему о новом значении слова «слепые». Понимаешь, этот мир был так устроен всегда. Испокон веков. И каждому уготовано предназначение. Сеять и жать хлеб, ковать ору-

дия труда, управлять и править – каждому своя доля от рождения. Предназначение судьбы. Вот я и мой муж – Владимир – мы люди простые, труженики. И так повелось, что всех, не имеющих *Ячин* и *Япост*, кому не посчастливилось родиться с золотым *Яправ*, называют в нашей стране *слепыми*. Конечно *слепым* быть нелегко, но, поверь мне, наши тяготы – солёный пот, у других же ответственности неизмеримо больше! Людей, достигших определённых чинов на службе во славу Вирта, прозвали *немые*. – Их удел, молча исполнять свою службу. И на самом верху – избранные. О них говорят: «*Глухие* рождаются, сразу опутанные сладкими золотыми цепями».

Искалеченный мир, – у Дрёмы было двойственное чувство. С одной стороны – необъяснимая грусть, а с другой – глупый смех. – Неужели нельзя было иначе назвать? А, впрочем, в названии ли дело? Папа сказал, что слова лицемерны на языке и искренни при рождении. Да, папа, думаю, ты был прав. Люди не равны, и так решили сами люди. Согласиться с этим? – Мысли запнулись, так же, как запинается поток, встретив неожиданную преграду. Мысли потонули в кипящих бурунах возмущённых чувств. – И я *слепой*?

За несколько дней до приезда папы из Стенограда в калитку негромко постучали.

– Можно. – В узком проёме появился одутловатый человек с добродушным лицом.

Одет он был в просторный серый балахон и весь увешан маленькими цепями, блестящими так ярко, что можно было подумать, что он только и занят тем, что все дни напролёт натирает их до солнечного сияния. Кстати, догадка мальчика была близка к истине. Гостем был местный служитель храма «Око Вирта», и полное название его должности звучало следующим образом: Покровитель Немеркнувших Звеньев, Оцепленный храма – чтимый Серафим.

– Вечных цепей здесь живущим! – Благодушно пожелал на входе Оцепленный храма и, приглашённый, с важным видом проследовал на веранду. – Хозяюшка, я что зашёл-то, – он вытер крупные капли пота со лба, – когда твой-то приезжает?

– Да скоро уже ожидаем, – суется перед важным гостем, ответила мама.

– Что ж, хорошо. Пусть, как приедет, зайдёт ко мне.

– Непременно зайдёт. Давайте молочка свежего с хлебом. Надя, неси кувшин из подвала!

– Не откажусь, не откажусь, – благодушно улыбаясь, чуть растягивая слова, пропел Серафим. – Ну, а как наш путешественник – привыкаешь? – он устремил взгляд на Дрёму.

– Привыкаю потихоньку. – Дрёма почувствовал, как его уши зарделись – он не ожидал такого внимания к своей персоне.

– Ну что же – я рад. *Чужим* быть никому не хочется. Так что давай, отрок, вживайся побыстрее! – Покровитель немеркнувших звеньев поправил на себе цепи, от чего они радостно вплелись в разговор. – Приобретай вес. И кто знает, может, когда-нибудь ты станешь важным звеном в *Прикованной*.

Дрёма не ответил вслух, а сделал двусмысленное движение головой и плечами, мол, посмотрим.

Вошла Надя, неся кувшин с молоком и ароматной булкой свежеиспечённого хлеба. Разговор на время прервался и продолжился после того, как стол был накрыт, и все заняли свои места. Оцепленный храма и мама заговорили о малопонятных Дрёме вещах. Он с интересом слушал, что: «...нужно чаще наводить блеск металла...», «Жизнь – цепочка поколений. Ритуалы сцепки позволяют сохранить преемственность...»

– Да, жизнь, – сладко вздохнул Серафим, – прадеды понимали важность каждого звена. Для них *Я* служило не украшением, а смыслом жизни. И сегодня очень важно поведать новым поколениям суть «Свода Цепей Вирта». Чтобы они понимали: их благосостояние лежит через отполированный трудом металл предков...

Мама чаще молчала, не прерывая речистого собеседника, и только иногда кивала головой в знак согласия, позволяя себе кротко вставлять в паузы: «да, да» или «не говорите – времена не те на улице».

– Вот и книжники вносят свою лепту – разрывают единство. Не понимают они – бумага горит, а цепи вечны. Говорят, в Стенограде гуляет в народе некая книга «Свобода и цепи», так она, по-моему, называется. Так вот до чего дописался бессовестный книжник! – Цепи Покровителя возмущенно заголосили, сопровождая резкое движение, – представляете: «... без цепей ходить намного легче... Я пробовал и вам того желаю».

– Как же так? – испуганно всплеснула руками мама.

– Вот такие-то дела, хозяйюшка. Люди сами разрывают спокойное течение дней. Ведь сказано в «Своде»: «... всё в мире взаимосвязано... Оглянитесь, и вы заметите вокруг себя бесподобную стройность и взаимосвязь всего сущего... Это ли не образ, идущий к нам из седых глубин прошлого, бесконечных звеньев? Где каждое звено – отдельная жизнь... Разбросанные по земле, они представляют собой хаос. Но собранные воедино, выстраиваются в неразрывные цепи гармонии...» – Оцепленный перевёл дыхание и снова продолжил, воодушевленный внимательным молчанием слушателей, – разве не служит доказательством мудрости, заложенной в «Своде», то, что с каждым новым поколением мы живём всё лучше и лучше. А вспомните, что писалось о прошлом: «... и было смятение. И Вирт Первый глядел с недоверием на племя многочисленное... отражение смущало... зоркая мудрость, проникая в природу тьмы, дальновидно предвидела хаос...» Цепи служат пониманию своего предназначения и своей гармоничной простотой словно говорят: твоя жизнь не бессмысленна – она соединяет прошлое и грядущее. И пусть порой бывает тяжело, именно они позволяют нам сказать: я осознал свое Я, ощущая на себе тяжесть предназначения каждого человека на земле. Глядя на себя и сравнивая свою жизнь с другими, мы спокойно уходим – я был.

Цитируя выдержки из неизвестного Дрёме «Свода», чтимый Серафим незаметно преобразался, и в голосе появлялись торжественные певучие нотки.

– Как видите, молодые люди, Я не просто металлические украшения, в них заложена мудрость жизни. Если хотите, философия жизни. Я вот смотрю на вас и вижу: у Нади, несмотря на её юный возраст, уже имеется определённый вес, положение, и не только среди одноклассников, что тоже немаловажно, но и среди взрослых, она – новое поколение. Так что... – Оцепленный смутился.

– Дрёма, – подсказала мама, догадавшись о причине его смущения.

– Да, да, Дрёма, вот вам достойный пример благотворного влияния цепей на весь уклад нашей жизни – вы знаете теперь к чему стремиться. И я от всего сердца желаю вам приобретения новых цепей.

– Спасибо, – без энтузиазма пробормотал мальчик.

Серафим ещё немного посидел, похвалил хозяйку за хлеб и засобирался. У входа он благочинно произнёс:

– Новых звеньев вам и вашему дому.

Уже лёжа в постели, Дрёма вспомнил странного посетителя и его длинные певучие речи. Вроде бы и глупость на первый взгляд, а оказывается, без неё жизнь потеряла бы свой смысл. – Он смотрел в темноту, в которой еле-еле угадывались потолочные балки. – Ведь точно – сними цепи, и чем мы будем отличаться от животных? – да ничем! А цепи связывают нас в общество... – тут он словил себя на мысли, что цепи незаметно становятся необходимой привычкой, – он уживается с ними. Хотя ещё вчера плакал, ощущая на руке холодное присутствие Я. – Я не примиряюсь, – дискутировал он сам с собой, – я учусь терпению и пытаюсь понять этот странный мир. Он же существует – значит, имеет право на жизнь. В следующее мгновение он спал.

Он не был удивлён, когда всё небо покрылось золотыми тучами. Не удивил и странный звук грома – будто одновременно зазвенели тысячи огромных цепей. Какой необычный снег, – подумал он, увидев, как сверху, медленно кружась, устремились вниз яркие блески. И только когда они приблизились совсем близко, он инстинктивно вжал шею – блесками оказались

металлические звенья. Страх быть раздавленным заставил зажмуриться и сжал сердце. Сейчас! Вот, сейчас! Но, как ни странно, ничего не происходило. Лишь обострившийся слух улавливал мелодичное позвякивание падающих с высоты необыкновенных осадков. «С первыми звеньями вас, молодой человек!» Он удивлённо разжал веки. Перед ним, светясь от радости, стоял Покровитель немеркнущих звеньев. «Что? – переспросил он, поражённый этой встречей при таких необычных обстоятельствах». «Посмотрите, какая красота, – по-прежнему улыбаясь, произнёс Серафим, – только в такие минуты понимаешь величие природы – всему свое время. А вы, по-моему, испугались!» «Да немного. Всё-таки металлический снег – такого я ещё не видел». «Ничего, привыкнете – вначале, да, согласен, выглядит более чем странно. Но обратите внимание, насколько они своеобразно чудесны» – Оцепленный храма загрёб полную горсть горящих на солнце звеньев и подбросил вверх, те весело зазвенели и, сплетаясь между собой, устремились вниз. Дрёма, поражённый зрелищем, смотрел на то, как отдельные звенья на глазах превращаются в цепь. «Что – чудо! То-то же. А почему бы и нет – ведь из снега лепят снежки, а из звеньев – цепи». – Серафим явно был счастлив: то, чем он жил, во что верил и чему служил, находило явное и весомое подтверждение в виде заваленных звеньями улиц. Дрёма огляделся: кругом были люди. Лица взрослых одновременно и радостные и озабоченные – красота, но нужно будет расчищать мостовые, они уже свыклись и с красотой и по взрослому – мудро – с заботами. Дети, сбиваясь в стайки, поднимали над собой целые железные облака и, как замороженные, глядели на падающие искрящиеся цепи. Они не понимали – они жили... «Соня!» Он огляделся – никого. И тут опять откуда-то сверху раздался громкий голос:

– Соня, хватит спать!

Дрёма проснулся. Сон, – облегчённо вздохнул он. – Надо же присниться такому!

– Не притворяйся – ты уже не спишь!

Он повернул голову и снова зажмурился – яркое солнце пробивалось сквозь узкую щёлочку между плотно задёрнутыми шторами. За полосой утреннего света стояла Надя и настойчиво будила его.

– Знаешь, такой странный сон приснился, – потягиваясь на постели, ответил он.

– Знаю, знаю. А ты знаешь, который час – десятый. Поднимайся, мойся, и будем завтракать. – Надя скрылась за дверью, оставляя его наедине с полосой яркого света.

Уставшие после весёлых игр, ребята вповалку растянулись на земле в тени деревьев. Громкие крики, только что оглашавшие местные полянки, сменились умиротворённой тишиной.

Дрёма лежал и смотрел на бегущие по небу облака. Так хочется знать: эти облака так же будут медленно парить над мамой; или всё, буквально всё изменилось – и облака, и люди, и, может быть, и я. Ну, облака и люди – не знаю. Но ведь я – прежний. – Дрёма оглядел полянку, на которой валялись вповалку уставшие товарищи по играм. – И дети, сними с них цепи, такие же, как и в том мире. Хотя, нет, – он посмотрел, как Андрей, лениво повернулся на другой бок. Он привычным движением сгрёб все свои *Я* и перенёс на новое место. — *Я* незаметно заставляют жить иначе. И если мне суждено жить здесь, то я тоже приноруюсь и стану, не задумываясь тащить на себе всю эту *Яцущь*. – Последнее слово развеселило его, и он тихо, про себя, рассмеялся своей находчивости.

– Ты чему смеёшься? – шепнула Надя, расположившаяся рядом.

Так-так, – подумал Дрёма, – и за мной наблюдают. – И он повернул голову в сторону девочки.

– Да так, о своём, – ему не хотелось посвящать её в свои мысли, тем более что для неё они были бы оскорбительны...

Он совсем не похож на остальных ребят. Постоянно о чём-то думает. Хотелось бы знать о чём. «Наблюдатель» – резюмировала она, улыбнувшись своему сравнению, и сразу нахмурилась – это она улыбается ему, но у остальных несколько другое отношение...

Дети, не задумываясь, включают его в свои игры и развлечения. Включают с оговоркой – *чужой*. Это слово часто неосознанно вклинивалось в разговор, когда речь заходила о Дрёме. Вот почему Надя нахмурилась – ей хотелось, чтобы Дрёма забыл все свои невзгоды и стал одним из них. Она снова стала незаметно наблюдать за ним. А захочет ли он носить *Ярод*? – думала она, глядя, как Дрёма долго не мог найти место для почти невесомого *Ячу*... Думая о счастье другого она обязательно оковывала его «цепями счастья».

\* \* \*

*Я* становилось такой же необходимостью, как собственное имя. Имя мы получаем при рождении, очередное *Я*, так же вручалось в связи с тем или иным событием в жизни. По прохождении какой-то вехи, установленной кем-то когда-то у обочины жизни и с тех пор служащей путеводным знаком: столько прошёл, туда иди.

Дрёма недоумённо рассматривал новенькие, начищенные до блеска *Яжив* и *Япри*. Рядом стояла сияющая Надя и чем-то озабоченная мама Нади. Его живо поздравляли, жали руку неизвестные люди. Он несколько отстранённо кивал головой и снова взвешивал на руке увесистые «украшения».

– Вот теперь ты можешь считаться одним из нас – житель *Прикованной*!

*Немой* третьего уровня искренне и крепко пожал руку подростка.

– Рад, очень рад! Носи эти *Я*. Гордись ими и они, поверь мне, – *немой* третьего уровня наклонился к Дрёме, – сослужат тебе добрую службу. *Я* по себе знаю. – *Немой* выпрямился, – я, если хочешь знать, тоже *чужой*.

– Чужой?!

Дрёма недоверчиво оглядел видную фигуру *немого* третьего уровня. И чиновничий кафтан, и целый ворох всевозможных *Я* утверждали обратное.

– Не веришь! А ведь истинная правда. Приглядишься. Ничего не замечаешь?

Дрёма стал бесстыдно рассматривать каждую черту на лице, не упускал из виду одежду. Ну, чуточку глаза раскосые, цвет кожи отдаёт желтизной, но всё остальное самое обыкновенное.

– Не ищи, не заметишь. – *Немой* третьего уровня хитро подмигнул Наде.

– Ну, цвет кожи, и глаза, глаза, простите, как у монгола.

– Цвет кожи? Глаза, как у монгола? – пришёл черёд удивляться чиновнику администрации, – не знаю кто такой «монгол», но вы, молодой человек, весьма зорьки. Хм, да, – *немой*, потёр рукой подбородок, – да только я просил внимательно разглядеть мои *Я*. Хм, глаза раскосые – я бы и не заметил.

И верно, Дрёма после некоторых усилий заметил, среди гирлянды *Я*, крохотный *Ячу*.

– Увидел. Да-да – *Прикованная* моя вторая родина. А родился я с «лисыим хвостом».

Заметив замешательство Дрёмы, Надя пришла на выручку:

– «Лисий хвост» это такое особенное плетение цепочек. Такие носят обычно на востоке.

– Молодец, – похвалил Надю *немой* третьего уровня и обратился к Дрёме. – Учись, схватывай всё на лету и тогда подножки, подставляемые нам судьбой, могут превратиться в трамплины. Со мной так и произошло. Оказавшись в *Прикованной*, я чувствовал себя раздетым, обделённым – ни одного *Я*. Ты можешь понять весь ужас моего состояния. Но я не отчаивался – учился, присматривался, приспособливался, пробивался и вот, – чиновник гордо взвесил на руке все свои многочисленные *Я*, – хороша коллекция. Неправда ли? Чего и тебе желаю.

– Да уж, – Дрёма посмотрел вверх. *Немой*, почему-то, напомнил купца из учебника истории предлагающего драгоценные меха, только вместо мягких мехов с руки свисали цепи и цепочки, вызывая зависть у покупателя.

Дома накрыли праздничный стол. Мама Нади давно успела присмотреться к Дрёме, и он больше не внушал подозрения: «скромный, на чужое глаз не положит, а главное – чудаковатый он какой-то, и не *чужой* и не *прикованный*». Были приглашены гости.

Дни быстро пролетали. Однажды после обеда к Наде заскочила подружка Ольга. Вертялая с веснушками и двумя косичками над ушами.

– Пойдём, там Петька приехал из города. Столько нового рассказывает.

– Петька, – худощавый парёнёк, с чёрными, как уголь волосами протянул руку.

Ого, сколько *Я*, – подивился Дрёма и протянул свою руку.

Вечером того же дня они с Надей сидели в садике на лавочке и разговаривали.

– А что у него за *Я* на правой руке, у запястья? Важное какое-то.

– *Ягл*. – Ответила Надя, затем спохватилась и разъяснила, – у Петьки отец *глухой*.

– Бедный.

– Да, обеднели они. Когда-то их род был очень известным, на службе у Вирта. Наш посёлок принадлежал им, и до сих пор принадлежит. Только они давно живут на ренту. Отец, по традиции, почётный представитель в администрации и в суде.

– В суде? Как же он судит – он же глухой!

Надя внимательно посмотрела на Дрёму, будто говоря: ты чего, притворяешься, али как? Тот не притворялся, изумление было искренним.

– И когда ты начнёшь разбираться в нашей жизни. Вон уже и *Яжив* и *Япри* давно потеснили *Ячу*, а вопросы по-прежнему глупые задаёшь. А кому ещё судить, если не *глухим*. Давай-ка историю перед сном читай. Вон тот чиновник, как и ты, *чужим* был, а теперь глянь какой человек – весь цепями увешан – уважаемый. У него и двор, знаешь какой? Газон имеется и беседка.

Дрёма уже знал, что имеется прямая зависимость между некоторыми особенно важными *Я* и уровнем жизни, статусом каждого жителя *Прикованной*. Но сейчас он никак не мог взять в толк: как может глухой судить!.. И тут его осенило:

– А понял! Он через сурдопереводчика судит. Правильно?

– Не знаю я никакого сурдопереводчика. Знаю одно: он *глухой* и потому судит – так было всегда. Так принято. Таков закон.

– Хоть убей – не пойму. Глухой! Да такой так засудит: невинного за решётку, а вора на свободу.

– Ну, Дрёма об этом не нам судить – мы *слепые*.

– Это верно и слепым судить тоже нельзя.

\* \* \*

Прошло ещё несколько дней. Теперь, разговаривая с Петькой, Дрёма нет-нет да взглянет на золотую цепочку *Ягл* с брелоком, изображающим древний родовой герб. А когда встречался с отцом Петьки, важным дородным мужчиной, то, следуя принятым правилам, почтительно склонял голову и вытягивал перед собой правую руку ладонью вверх, на ладони он держал *Ячу*, другие должны были держать *Ясл* или *Ячин*, в зависимости от статуса владельца *Я*.

В первый раз отец Петьки остановился и с некоторым удивлением начал рассматривать Дрёмин *Ячу*.

– *Чужой*, значит. – Он важно откашлялся, каким-то особенным движением, полным достоинства и жизненной сноровки вскинул к уху правую руку, от чего все его *Я* наподобие перьев птичьего крыла веером раскрылись и опали вниз, переливчато зазвенев, мол, гляди, сколько у меня и сколько у тебя. – Видный нравится? Я вижу, ты ещё не *ослеплен* и в чин тебе рановато. Где остановился?

Выслушав ответ, Зимин (фамилия отца Петьки) поджав нижнюю губу, удовлетворительно кивнул, обе щеки тоже дали согласие качнувшись вслед за головой:

– Добрая семья. Владимира я знаю. Добрая. Хорошо, я займусь тобой. Мне люди нужны, я каждым человеком дорожу! Приглядывайся, мнится мне: Видный станет твоей второй родиной. А теперь иди, играй отрок. Всеми своё время. Не забывай начищать почаще *Я*. Блестящее сразу бросается в глаза и способствует продвижению в жизни.

Дрёма долго провожал удаляющуюся спину Зими́на. Будто чужая вертелась в голове одна мысль, и она не давала ему покоя: что лучше быть *ослепленным* или чин. Выходило, что иметь чин всё-таки лучше и почётней, и двор сразу получаешь. У *слепого* всё неясно, всё на милости судьбы и высших сословий. Мысль обыкновенная, такие же, ещё неосознанно, по-детски наивные посещали растрёпанные головы его сверстников. Мыслям этим в юных головах ещё не были свиты гнёзда из железных звеньев, и они порхали с ветки на ветку, свободно, непринуждённо. Чирикали и улетали прочь. Всеми своё время.

Дрёма шёл по улице и никак не мог расстаться с навязчивой мыслью. Она чем-то мешала ему, как комочек пищи, застрявший между зубов: что лучше быть *ослепленным* или чин? Подойдя к Наде, он спросил. Та не раздумывая, подтверждая слова разведёнными в стороны руками, ответила:

– А чего тут думать, чин он и в Африке чин! *Слепые* многих *Я* лишены. У тебя, Дрёма, уникальный шанс. Ты как бы между. Пользуйся. Вон мой отец – уважаемый человек и тут и в городе, начитанный. А только коснись – *слепой* и точка. – Надя вздохнула, и повторила, – *слепые* многих *Я* не видят.

– Вот!

– Что вот! Ты чего кричишь, будто тебя режут?

– Осенило.

Дрёма начал как угорелый прыгать вокруг Нади и вдруг обнял её и тут же смутился.

– Ой, прости. Это я на радостях.

– Да ничего, – ответила покрасневшая девочка.

Вечером, лёжа в постели, Дрёма вспомнил этот разговор и свою нечаянную радость. Он приподнялся на локте, потянулся и взял с тумбочки толстую тетрадь. Полистал, раскрыл нужную страницу и начал читать, водя пальцем по листу, как в первом классе. Вот оно: «Относись к слову бережно, любя: учишься расслышать в нём явный или скрытый смысл. Слово не набор букв и звуков, оно продолжение человека, оно связь его с миром. В нём истина и в нём прельщение. Если каждое слово твоё звучит как „люблю“, мир услышит тебя и подскажет верную дорогу. Верную для человека. Остальные промаршируют мимо и дальше, под грохот барабанов и славных труб...»

Дрёма перестал читать. Тетрадь отца была прочитана. От корочки до корочки. В ней много откровенного, порой Дрёме было неудобно читать – он будто присутствовал при публичной порке родного отца. В роли палача выступал сам отец. Иногда отец о чём-то предупреждал: я был Ванюшей и был любим и любил; и стал Ваней, накачал мышцы, научился ловчить и увёртываться и все вокруг зеркально повторяли. Дрёма читал и ему становился понятней мир взрослых, мир полный противоречий, сталкивающейся воли, мир искалеченный и мир прекрасный: «нам другой, пока на дан».

Вот и сегодня тетрадь, словно живой отец, всегда бережно держащий его за руку, подсказала: Что ты слышишь: ослепленный или *ослепленный*? В первом случае ты можешь прозреть, во втором – никогда. И твоё человеческое *Я* навсегда будет звучать как *Я* – звенеть, да и только.

А ведь я так и не прикоснулся ко второй тетради, – подумал Дрёма и взглянул на тумбочку, где одиноко лежала тонкая сорока-восемь страничная изрядно помятая тетрадка.

Он задумчиво пролистал всю тетрадь со скачущими лошадьми на обложке и прочитал последние строчки: «Вроде всё. Оправдался. Ничего не утаил, не забыл. Вчера проходил мимо храма. Тот, что возле Морпорта. Вижу, подъехал чёрный джип, такой, что многих жизней стоит, важный хромированный, хамоватый – припарковался, где ему заблагорассудится.

Вышел из него чистый, опрятно и модно одетый мужчина, из тех, кто давно знает, в чём измеряется вера и жизнь, какой ценой. Направился к храму. Меня будто подтолкнуло – иди. Он долго молился и разжигал свечи. Молился вроде искренне, не разглядел – сумеречный свет в храме не позволил. Потом подошёл к служителю в рясе. Тот выслушал просьбу, кивнул в знак согласия и они уединились. Думаю, я стал свидетелем покаяния. Совесть – это индикатор связи с богом в нас. Его вырывают, ставят различные заглушки, люди освобождаются, так как привыкли: отрезать всё, что мешает жить. А совесть всё равно начинает сигнализировать и тревожить. Она вне людской суеты. Мой «герой», словно сошедший со страниц модных журналов, не появлялся довольно продолжительное время. Но вот он вышел на паперть. Размашисто и честно перекрестился. Раздал щедрую милостыню нищим. Вальяжно, с чувством исполненного долга, подошёл к чёрному джипу. И тут зазвонил его мобильник: «Да, слушаю!.. Иди к чёрту, я не буду с тобой договариваться. Должен – верни! И никакой отсрочки!»

Душу-то я освободил. Свою душу. Вроде как покаялся. А что дальше? Сесть в джип, купленный дорогой ценой, и помчаться дальше? В той цене и твоя и моя жизнь. Я много писал о любви. Советовал, предостерегал. Но любовь отличается от того, что люди называют *любовью*, как мощи отличаются от живого человека. Как крест живой с роящимися мухами и муками плоти отличается от креста золотого. Живой человек и символ... Хочется верить, что следующая тетрадь будет так же отличаться от этой».

При этих последних словах отца сердце Дрёмы невольно сжалось, и комок подкатил к горлу. Он предчувствовал: тоненькая невзрачная тетрадь скрывает на своих листах и великую радость открытия и величайшее испытание, терзание души. И она совсем не будет похожа на эту, вечно куда-то мчащуюся, беспокойную. Она будет иной.

Мальчик почему-то медлил. Он не спешил раскрывать её. За этими лошадыми он угадывал лёгкую пролётку, а в ней живого отца. И пусть он едва представлял себе, как выглядела когда-то пролётка, и милые черты родного человека теперь вспоминались всё менее отчётливо, он перечитывал и перечитывал замусоленные страницы, на них продолжал жить и страдать его отец.

Кстати, и отец не подталкивал его. «Детству не нужно снова входить в сад любви – оно уже там. Но если тебе, однажды, захочется оставить всё, чем так дорожило сердце, и к чему прикипела душа, всё, чем дорожил опостылеет тебе и перед тобой окажется калитка, а за ней тот самый сад, стучись и толкай смело – она откроется».

Дрёма положил тетрадь и погасил светильник, укоряя себя в расточительстве. Надя ведь предупреждала: «*Слепые* вынуждены экономить на всём, включая и свет. Свет для *глухих*».

\* \* \*

Через несколько дней из города вернулся отец Нади.

– Папа приехал! – Надя, словно ужаленная пчелой, вскочила со своего места и бросилась на шею идущему по садовой дорожке мужчине.

Следом за Надей на крыльцо вышли мама и Дрёма.

Дрёма ожидал приезда из города хозяина приютившего его дома с некоторой тревогой – как он отреагирует на нежданного гостя? И вот теперь, несколько напряженно, смотрел на приближающегося к нему высокого человека средних лет с лёгкой проседью в чёрных волосах и с волевыми чертами лица.

– Так-так, а это, значит, и есть наш юный путешественник из ниоткуда! – Произнёс отец Нади, он после того, как нежно обнял жену и опустил на землю, висевшую на его шее, переполненную счастьем дочь. – Ну, давай знакомиться – Владимир, – он протянул Дрёме натруженную руку.

То, как непринуждённо и легко протянул руку Владимир, его приветливый, добрый взгляд, сразу же развеяли все опасения мальчика. Он тоже улыбнулся в ответ.

– Дрёма.

– Дрёма, говоришь. Судя по имени, парень, – ты точно не местный.

Дрёме послышались тёплые нотки в голосе Владимира – мужчина не употребил слова *чужой* именно в том, иносказательном смысле.

– Вот и я всем говорю, что я издалека. А мне не верят.

– Неправда, папа, не слушай Дрёму – я почти сразу ему почему-то поверила! – Запротестовала Надя и замахала руками.

– Я вижу, вы уже нашли общий язык, – снова широко улыбнулся Владимир. – Что ж, я рад.

– Мы так и будем стоять у крыльца дома или всё-таки войдём? – Это мама, стоявшая возле мужа, решила стать активным участником непринуждённой беседы. – Папа устал с дороги, Надя с Дрёмой, растопите баньку, а я накрою на стол!

Весь в клубках пара, Владимир, одетый в домашний залатанный халат, сел на лавку и с довольным видом прислонился к тонкому стволу яблони.

– Как дома хорошо! – Он мечтательно закрыл глаза. – Только ради этого можно жить, Дрёма.

Дрёма, сидевший рядом, тоже весь окутанный туманом, кивнул в знак согласия.

– Да, парень, ты сильно не грусти – везде можно жить. Лишь бы только люди окружали хорошие. Случившееся с тобой, конечно, больше похоже на чудо. И если честно: мне до сих пор верится с трудом. Но ты здесь, а это уже факт, скажу больше – у меня в душе такое предчувствие, что я знаю, как тебе помочь побыстрее освоиться здесь.

– Как!? – Дрёма встрепенулся.

– Не торопи события. Дай мне всё обдумать. Хорошо?

– Конечно, – слова Владимира вселили в надежду в завтрашний день.

– А ты рыбалку любишь?

– А то ж – кто её не любит!

– Давай завтра с утрачка, да и рванём с тобой на речку, а?

Дрёма не успел ничего ответить, потому что его опередила подошедшая с большим блюдом мама.

– Какая рыбалка, Владимир!?

– А что?

– Тут уже родня навевалась, спрашивали, что завтра.

– Ясно, значит, завтра рыбалка отменяется.

К вечеру следующего дня их маленький дом стал заполняться людьми. Некоторых Дрёма уже знал по прошлым посещениям, но были и такие, кого он видел впервые. Когда Дрёму знакомили, во взглядах вновь пришедших он читал нескрываемый интерес, как будто он был некоей диковинкой. Такое отношение смущало и добавляло беспокойства: прямо экспонат в музее! А гости всё прибывали и прибывали, дом наполнялся разноголосицей, непрерывно сопровождаемой звонким бряканьем многочисленных *Я*.

– Я, думаю, семеро одного не ждут – пора за стол! Кто опоздает, пусть пеняют на себя! – громко произнёс Владимир, сделав приглашающий жест в сторону накрытого на улице стола.

– Вот это мне нравится – по-хозяйски! Как скажешь – за стол, так за стол. Нам, *слепым*, всё равно!

Застолье было в самом разгаре, когда кто-то из гостей вспомнил загадочных *книжников*.

– Да бездельники они, причём опасные бездельники, – несколько возбужденно заметил кто-то.

– И чем же они опасны? – спросил с интересом раскрасневшийся Владимир, – по-моему, такие же, как и мы.

– Э-э-э, не скажи, – говоривший поднял руку, словно останавливал напирющую лошадь. – Нашёл с кем сравнить – со *слепыми*, мы – соль земли, на нас всё держится. Мы, не видя солнца, тащим свой *Яраб* и при этом кормим и себя и других.

– Правильно говоришь, дело! – за столом оживились.

Разгоряченный собеседник продолжил свой интеллектуальный напор:

– Я скажу больше: и *немые*, и *глухие* – пускай и нахлебники – всё-таки не зря едят свой хлеб.

Тут, сидевший в дальнем углу мужчина (Дрёма не запомнил его имени), звякнув многочисленными начищенными до блеска *Я*, сменил тему разговора:

– Владимир, ты в городе не встречал Георгия?

– Которого?

– С Узкого переулка.

– Нет, а что?

– Он, говорят, в *стражу* записался.

– Вот так наши – ещё один земляк в *немые* пробился.

– Не радуйся – чтобы нашему брату получить *Ячин*, нужно потрудиться. Мне говорили, какой-то срок есть. Вроде испытания, что ли.

На время общий разговор сменился гвалтом голосов и какофонией металлического побрякивания. В дальнем углу продолжали горячо спорить, что лучше: «...скромный, но честный *Яраб* или же более престижный, но „холуйский“ *Ячин*». Женщины оставались женщинами и с увлечением обсуждали обновку хозяйки, привезённую из города, и некий новый покррой на щеголихах того же заманчивого города, при этом мелодичные *Ямод* и *Ястиль* оживлённо перекликались между собой.

Владимир и его «оппонент со товарищи» продолжали выяснять: чем навредили *книжники* славному Виртгору.

– Хорошо, я соглашусь с тобой, – Владимир поднял руку, как бы говоря: «не кипятись, присядь», – *Слепые*, бесспорно, являются стновым хребтом нашей страны. Благодаря нам выпекается хлеб, и строятся дома. *Немые*, вынужденные безропотно выполнять свои обязанности, тоже необходимы – без них не было бы порядка. Ну, а *глухие*, сами понимаете, – на то воля Первого Вирта – они та спайка, без которой цепь рассыпалась бы на отдельные мёртвые звенья. И всё-таки, позвольте вас спросить: чем же вам *книжники* насолили? Я в Стенограде с некоторыми познакомился – хорошие ребята, и поверьте мне, ничем от нас не отличаются!

– Да ты пойми, Владимир, бездельники они. Не все, конечно. Те, кто ходит по селениям и даёт представления – *лицедеи* – те ещё, куда ни шло – веселят. А вот те, так называемые «писаки», всё им плохо. Вон и Покровитель нам говорил, что пишут всякое – так и хотят цепи порвать.

– Их бы самих порвать!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.